Créme de la Créme



Эрве Гибер

Любовная инъекция

Перевод
Алексея Воинова



Kolonna Publications
Митин Журнал

90†

ББК 84.4 Фр



Hervé Guibert
La piqûre d'amour et autres textes

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Полина Кручёных
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использована фотография Эрве Гибера "Рабочий стол", 1982

ISBN 978-5-98144-263-6

© Editions Gallimard, Paris, 1994
© Kolonna Publications, 2019
© Алексей Воинов, 2019

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Любовная инъекция — средство столь же порочное, сколь на вид безобидное, похожее на обычный лечебный раствор в ампулах, — это прозрачная бесцветная жидкость без взвеси и пузырьков. Когда верх ампулы надламывают, не появляется ни пара, ни резкого удушающего запаха. Если долго вдыхать это средство, закружится голова. Если попробовать его на вкус, едва смочив губы, сразу начнет тошнить. Если же его лизнуть и, что еще хуже, потом проглотить, то, распространяясь по телу, оно вызовет рвотные спазмы, особенно страшные, когда накануне не было обильной еды с большим количеством масла, мучного и шоколада.

Подкожная или внутримышечная инъекция подобных проблем не вызывает, разве что может появиться чувство легкого недомогания: как правило, жидкость вытекает обратно через небольшое отверстие от иглы, иногда образуя маленький сгусток, который вскоре незаметно рассасывается. Это средство следует вводить прямо в кровь или сердце продезинфицированной длинной тонкой иглой; оно не воспламеняется и испаряется крайне быстро.

Однородная бесцветная прозрачная жидкость готовится посредством долгой дистилляции и последовательных переливаний, порой весьма сложных в том, что касается используемых материалов — порфира, обсидиана, из которых изготавливают емкости и мельчайшие сита, потом их промывают собранной высоко в горах дождевой водой
8 и протирают мясистыми листьями, от которых на стенках возникает подобие пленки, тогда жидкость может в ней как следует отстояться; быть может, подбор составляющих и все манипуляции с ними — следствие бессмысленных предрассудков, — за основу при этом берется кровь двух молодых и сильных животных, кровь эта непременно должна быть теплой, взятой непосредственно из сердец во время первого спаривания. Не будем особо распространяться о том, как именно ее извлекают (сведения о процедуре долгое время хранились в тайне от тех, кто желал прибегнуть к любовным уколам), поскольку все это выглядит ужасающе: испытывая впервые в жизни подобное наслаждение, будто забыв о том, что они в плену и в груди торчат подсоединенные к специальным насосам страшные иглы, два орла, оказавшиеся под одним сводом, две пумы, встретившиеся в одном вольере, опьяненные запахами, обнюхивающие, облизывающие друг друга, когда один зверь наконец уступает пылу другого, в самый момент охватившего их ликования, они вдруг оседают с таким стоном, с такой

бесконечной жалобой, уже даже не вскрикивая, но скуля так, что душа рвется из тела, а барабанные перепонки не в силах выдержать колебаний, превосходящих по силе ультразвуковые сигналы мурен. Если жидкость, предназначенную для любовных инъекций, оставить на открытом воздухе, она испаряется, на стекле же появляются маленькие кристаллы, вновь окрашивающиеся в кровавый цвет. Говорят, если такое стекло согреет в руках, натирая определенным образом, ясновидящий или способный одними пальцами высекать искры, можно снова услышать стоны принесенных в жертву животных.

Не стоит сравнивать любовные уколы с прочими снадобьями, вызывающими галлюцинации, с растворами, что получают, используя опий, грибы или же алкалоиды. Любовный укол можно делать только, когда рядом никого нет, поскольку в противном случае наблюдателя охватывает ужасающий приступ ревности; если же любовную инъекцию производят в одно время сразу два человека, ими овладевает желание уничтожить друг друга (появляющееся после укола ощущение смысла собственного существования сильнее любой самой нежной привязанности), в результате они словно вступают в петушиный бой, и тела их потом исцарапаны, искусаны и опустошены. Этот укол погружает человека в бассейн, рассчитанный на двоих. Прежде всего исчезает сонливость, возникает чувство, превосходящее любое

представление о счастье, никаких видений при этом не наблюдается, только ровное, беспрерывное, длящееся часами любовное оцепенение. Это не значит, что перед глазами, подобно голограмме, возникает другой, однако человек вдруг всей кожей ощущает чужие прикосновения, повсюду; к каждой впадине льнет какая-либо часть тела или язык, тело покрыто множеством поцелуев, внутри беспрестанно струится жар, подобный сладостному обжигающему потоку, блаженной лаве, тело как будто тебе не принадлежит, все чувствуется на пределе, тебя словно облизывают со всех сторон, сверху донизу, это похоже на непрекращающийся поток плоти, простертое тело будто растекается, его повсюду как бы облегают, обволакивают, засасывают слизистые полости, оказываешься внутри, точно в гигантском кармане вместе с тем, о ком непрестанно думаешь и у кого нет отчетливых очертаний, поскольку он наделен всеми очертаниями одновременно. Такое невыразимое счастье можно пережить, лишь распластавшись на полу, а еще лучше — в постели, поскольку действие смешавшейся с кровью жидкости ни с какими телесными излияниями не прекращается и длится даже во сне. Здесь невозможно выявить, когда именно явь переходит в сон. Тот, кто желает сну воспротивиться, оставаясь в сознании и не пересекая неощутимой границы, страшась момента, когда сон — вначале такой же ласковый и пленительный — постепенно

превратится в кошмар, населенный огненными зверями, — тот, кто жаждет продлить на какое-то время любовную оторопь посредством следующего укола, внезапно чувствует резкий прилив меланхолии, словно его укусил тарантул, такой человек лишается дара речи, у него выпадают ногти, он оказывается безработным.

Любовные инъекции, опасность употребления которых мы рассмотрели, одно время продавались по объявлениям, размещаемым в печати среди рекламы волшебных камней, которые следует носить на груди от сглаза, эликсиров и чистящих средств, грыжевых бандажей и чудодейственных средств, от которых на любой лысине вновь начнут расти волосы. Фармацевтическая фирма, производившая любовные инъекции, стала обманывать покупателей, в целях экономии разбавляя кровь диких животных и хищных пернатых кровью домашних кур. В конце концов, инъекции запретили, как запретили несколько лет назад — правда, не столь поспешно, — слезные ампулы, продававшиеся в магазинах игрушек и розыгрышей, поскольку заплакать от них было слишком легко.

(1979)

МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ

На черно-белой маленькой фотографии — сначала негативы исцарапали иглой, а позже, бросив в огонь, уничтожили, — на фотографии, что я все еще храню у себя, он запечатлен обнаженным, лежащим на бархатном покрывале кровати, над которой висит распятие; глаза у него закрыты, на голове — бутафорский убор легионера — сделанное из бумаги подобие кепи, в котором его кузен изображен на снимке, стоящем в раме на ночном столике рядом; отец молодого кузена — маршал — отправил сына в 195* году в Индокитай, где бомба разорвала юношу на куски.

Двусмысленная фотография была снята августовским вечером 19** года, в тот месяц, когда мы познакомились в баре — приятель указал на него, пояснив, что это метатель ножей и всем известный любовник мадемуазель Б. Его тетка — супруга маршала, у которой он жил, — отправилась в путешествие, намереваясь посетить кармелитский монастырь в Перигоре. Консьерж уже спал, но у моего приятеля имелся свой ключ от дома, ставни которого днем и ночью были закрыты. Одну за другой он зажег лампы, и я осмотрел жи-

лище, полное снимков героев, мраморных бюстов, хрустальных люстр и миниатюрных моделей самолетов, — настоящий музей, навсегда сокрытый от посторонних глаз; вдова посвятила его блаженной памяти почившего супруга и принесенного в жертву сына. Поговаривали, что маршал после трагической гибели отпрыска заделался педерастом и курильщиком опиума. Жена его посвятила себя духовной жизни, уйдя в религию и устраивая еженедельно вьетнамские полдники для юношей, созываемых из-за сходства с сыном. Кстати сказать, запечатленный на фотографии А. был почти копией своего кузена.

Я сделал фотографию прямо в спальне супруги маршала, где стоял снимок сына. Как получилось, что мой новый знакомый решил участвовать в таком представлении? Четыре года спустя я по-прежнему ничего об этом не знаю. Он не мог даже представить, что однажды я примусь его шантажировать. Сам я тогда не подозревал, как он на меня рассчитывает и что за страсть им уже владеет. На самом деле, это он меня выбрал. И думал, что с легкостью получит все снимки, при необходимости прибегнув к силе, если вдруг я заартачусь и откажусь их отдать. Сперва мы зашли ко мне, чтобы взять шляпы, требовавшиеся для сцены. Я напоил его, решив помочь таким образом съемке; я был в полной уверенности, что лишь сам обманываю его, вовсе не предполагая, что он тоже вознамерился проделать какой-то трюк. Я даже его накрасил.

Он был почти точной копией кузена, павшего в Индокитае, с одной только разницей: на левой щеке возле носа красовался округлый шрам, оставшийся после аварии на мотоцикле. Каждый раз во время еды на щеке появлялась испарина, которую он стыдливо вытирал салфеткой. Эту потливость он объяснял тем, что во время операции ему рассекли нерв.

Мы ужинали вместе почти каждый вечер в течение целого месяца. В тот август было не так много развлечений, поскольку наши закадычные друзья разъехались кто куда. А., затянутый в черную кожу, рассказывал мне о своих приключениях с проститутками, правда, приключения эти сплошь оказывались неудачами, поскольку шлюхи от него удирали, не желая даже брать денег. Когда мы выходили из ресторана, он чаще всего требовал отправиться на Пигаль, где, указывая на меня, препирался с проститутками из-за цены за двоих сразу. Однако случай пойти с кем-нибудь из тех женщин так никогда и не представился.

Однажды, явившись ко мне домой, он заявил, что чувствует себя после встречи с ночной бабочкой каким-то липким и попросил, чтобы я сам помыл ему причиндалы над раковиной.

В конце концов, он сознался мне в своем странном пристрастии — ему нравилось метать в цель ножи, — он рассказал о том, как это делается, и подарил мне в тот вечер свой пер-

вый нож — маленький нож со сломанной ручкой, которая, болтаясь на стержне, сама могла стать оружием. Лезвие сохранилось без повреждений. Метание ножей, говорил он мне, не стоит считать самостоятельным искусством или отважной блажью, оно должно быть частью программы, дополнительным номером театрализованного действа с музыкой и полуобнаженными ассистентами. Его мечтой было показать спектакль, в котором одетые в вечерние костюмы мужчины за ужином в замке обсуждали бы умение метать ножи и время от времени от разговоров переходили к действию, упражняясь на прислуге, завязывали себе глаза и кидали кинжалы все вместе, в финале же спектакля должна была появиться дама — с кляпом во рту, привязанная к опрокинутому столу, где только что проходил пир, — воображаемая пленница, все участники страстно ее желали и стремились избавить от пут, чтобы завладеть ею.

Ножи для метания — он демонстрировал их великое множество, испытывая особое удовольствие, давая их мне, чтобы можно было прикинуть вес на руке, — куски тонкого удлиненного металла с рукоятками, обернутыми ремешками из кожи. В момент броска ножи следовало держать за лезвие, чтобы на лету они переворачивались острым концом вперед. Хороший нож определялся по весу и должен был насчитывать несколько килограммов. Номера с метанием ножей, сказал он мне, как будто бы успокаивая, все

с обманом: прежде всего, рукоятки всегда полые, внутри там шарики ртути, поэтому нож, согласно простейшим законам физики, втыкается прямо, это снижает риски, что он пойдет по косой; более того, в доске, куда вонзается сталь, расположены магниты, отталкивающие лезвия от человеческого силуэта, очерченного мелом. Он тренировался

в одном загородном ангаре вместе с другими цирковыми артистами. Однажды вечером он пригласил меня отправиться туда вместе, представив всем остальным как партнера по номеру. На стенах висели небольшие афиши с его портретами, на которых он был разукрашен под опереточного злодея. Выступал он под именем Дзагато.

Ножи он хранил завернутыми в газетной бумаге. Самое ценное орудие помещалось в футляре из черного бархата, словно музыкальный инструмент или компас. Ему нравилось прикасаться к лезвию и проверять пальцами, насколько остро оно заточено; часто перед тем, как, изогнув руку, метнуть нож, он касался его губами. Тогда тело его дрожало, по-звериному гибкое, словно у притаившейся черной лоснящейся пумы. Он упражнялся, втыкая ножи в подстриженные стволы; никто пока не льнул к щиту с нарисованным мелом человеческим силуэтом, и щит этот с рисунком был закрыт тряпкой, словно мертвое тело на носилках, когда на место убийства прибыла полиция. Он разглагольствовал, как ему нравится, когда сталь

рассекает воздух со свистом, вдруг вонзается в цель и долго потом вибрирует, поразив дерево. Он вытаскивал еще горячий нож из прорубленной в коре щели и протягивал его мне, чтобы я оценил, какая это температура, — порой металл обжигал.

Возможно, все сочтут, что в авантюре решающую роль сыграло алкогольное опьянение, дескать, из-за него так и не вскрылся обман. Однажды он пригласил меня поужинать с его другом: друг этот, несомненно, знал, как делаются дела. В одиннадцать вечера он все еще был при полном параде: в костюме, шея стянута галстуком, пальцами барабанил по кейсу. Оба старались особенно не напиваться, чтобы под пьяную лавочку как следует обработать меня. Главная сложность в профессии метателя ножей, говорил А., заключается в том, что нет ассистентов, все смелые женщины, служившие прежде живыми целями, куда-то попрятались, их сдуло из благочестия или же потому, что за них боялись любовники, а без дамочек никакого номера для метателя ножей быть не может. Сам Дзагато потерял ассистентку много лет тому назад из-за пагубного сближения стали с магнитом, когда невзначай перепутал полюса. Напрасно он потом печатал в профильных газетах объявленьица: «Цирковой артист ищет партнершу для номеров с броском. Хорошие гонорары, страховка и оплата поездок гарантируются», — кандидаток как ветром сметало, когда им показывали летающие

кинжалы, на которые требовалось взирать без всякого страха. Дзагато пригласили представлять Францию на следующем международном съезде метателей ножей, который должен был состояться в декабре на сцене одного казино в Гонконге, а он так и не нашел ассистентки. Когда он предложил мне занять ее место, я подумал, что он шутит, захохотал

и без раздумий, даже не прочитав, подписал листок, который вытащил деляга из своего кейса. Внезапная перемена в их лицах, на которых вместо обходительности читалась теперь угроза, заставила меня прийти в чувство. Я хотел было забрать листок обратно, но его уже стибрили и, с облегчением ухмыляясь, подсунули мне копию.

Теперь я должен был ежедневно являться в загородный ангар, чтобы ассистировать месье А., известному под именем Дзагато, во время его подготовки к предстоящему выступлению на сцене казино в Гонконге, где мне следовало предстать живой мишенью в переодетом виде под именем, которое мне осталось выбрать, — либо мадемуазель Фукс, либо мадемуазель Калипсо. Все расходы на поездки и страховка оплачивались. Моя зарплата вплоть до декабря составляла четыре тысячи пятьсот франков. После я мог продлить или разорвать контракт.

Приходя на первые тренировки, я старался придумать, каким образом спастись. Отношение ко мне А. полностью переменилось — он стал вести себя грубо, заставлял

надевать расшитое блестками черное парчовое платье, купленное на распродаже и принадлежавшее когда-то китайской эстрадной певичке Сьюзи Вонг, и приказывал принимать гормоны. Чтобы номер прошел без происшествий, говорил он, я должен полностью ему доверять. Страх провоцирует несчастные случаи. Вначале я храбро глядел на ножи, пущенные в мою сторону со всей силой и вонзающиеся со звоном в нескольких сантиметрах от сердца. Я заставлял себя не зажмуриваться, но всегда наставало мгновение, когда я думал, что нож меня продырявил, и тогда живо представлял пред собой могильную плиту с надписью: «Здесь покоится прах мадемуазель Фукс, разрезанной на куски на сцене гонконгского казино своим партнером, знаменитым Дзагато». Надо было всегда усложнять задачу, стремясь к новым рекордам, поэтому он каждый день отходил чуть дальше и метал ножи из-под ног. Когда он, замотав мне глаза, привязал к щиту, я не выдержал. Заявил, что решил все бросить, они с этим жуликом импресарио могут делать все что угодно, но я ни за что на свете не поеду в Гонконг, я подам жалобу, в любом случае, у меня есть компрометирующие его снимки, я угрожал, что покажу их его тетке, вдове маршала, или опубликую в какой-нибудь желтой газете. В тот же вечер он нагрянул ко мне домой, чтобы их отобрать, мы подрались. Я отказывался отдать снимки. Напомнил ему о вечере, когда он ни с того ни с сего попросил

меня вымыть его погремушки в ванной. Не считая затеи с кинжалами, это единственные физические отношения, которые были у меня с описываемым парнем, и я больше не собирался его видеть. На следующий день я встретился с импресарио, и он при мне разорвал контракт, а я швырнул пленки в огонь.

(1977)

КИНО, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Эта женщина — актриса — приехала в большой, многолюдный город, который ей незнаком. Она здесь для того, чтобы дать серию интервью по случаю выхода нового фильма. Известная местная газета объявила о прибытии актрисы, напечатав ее фотографию на первой полосе. Она рассеянно берет газету, сидя в холле отеля, где продюсерская компания сняла для нее номер, и видит на той же первой странице, прямо под своим снимком, фоторобот мужчины, который в течение последнего месяца убил в этом многолюдном городе четырех женщин, в заголовке статьи он назван «убийцей со шнурком», поскольку душит жертв простыми шнурками от башмаков.

Женщина эта — актриса — смотрит на его бритое лицо прямо под собственным снимком, видит вполне реалистичное изображение, смахивающее на отретушированную фотографию, чувствует пристальный взгляд глаз, у которых почти нет ресниц, слегка вздрагивает и машинально прикладывает руку к груди, как ей говорили делать в кино в таких случаях, и ей кажется, она затылком

ощущает дыхание маньяка. Но сзади стоит всего лишь посыльный, протягивающий ей конверт. Она сразу же рвет письмо на клочки.

Ей страшно, но все же город — большой, в отеле — охрана, повсюду рыщет полиция, убийца, должно быть, чувствует, что за ним гонятся по пятам после того, как все видели его фоторобот в газете и, конечно, запомнили, как он выглядит. Однако, на самом же деле, убийца спокойно отдыхает на своей раскладушке, поскольку знает, что на фотороботе — не его лицо, разве что тонкие губы похожи, слишком многие дали ложные показания, болтуны наплели с три короба, недавно по этому случаю в одном кабаре в квартале, пользующемся дурной славой, задержали даже какого-то восточного танцора. «Надо мне быть внимательнее, — думает убийца, — возможно, полиция нарочно напускает тумана». Он встает с раскладушки, включает радио, делает прямо из горлышка глоток водки и вытаскивает из поношенной пары кроссовок шнурки.

Ей страшно, но, тем не менее, ее уже много раз преследовали в фильмах, она частенько становилась жертвой маньяка, и каждый раз ей удавалось спастись. Посыльный протягивает ей следующий конверт. Она с беспокойством молвит: «Откройте сами!» Из конверта падает, размотавшись, шнурок, в руках у посыльного — вырезанная из газеты ее фотография с дорисованной синей полоской на шее и глазами, подкрашенными черным

так, что веки теперь приподняты, а зрачки ловко обведены, во всем читается ужас. Она восклицает: «Звоните в полицию! Заприте дверь! Закройте ставни! Никого не впускайте!»

«Вы кто?» — она спрашивает у инспектора полицейское удостоверение, тот приказывает обыскать номер, она сразу хватается за косметичку и держит все время у себя на коленях, полицейские находят лишь то, что было в разорванном предыдущем конверте. Инспектор, собрав клочки, собирается прочитать текст вслух, но она на своем канапе оборачивается и, будто почувствовав резкий приступ тошноты, восклицает: «Нет, я не желаю этого знать!»

Звонит телефон. Она механически берет трубку, произнося с облегчением: «Ах! Это Джон!» Но внезапно она слышит в трубке дыхание, ей кажется, даже жаркое, смрадное, за которым следует мертвая тишина. Она нажимает на рычаг и набирает номер администратора: «Кто сейчас звонил ко мне в номер? Как он назвался? Какой у него был голос? Меня ни для кого нет, вы поняли? Только если это Джон Хаттен!»

— Кто такой Джон Хаттен? — спрашивает инспектор.

— Мой верный рыцарь. Он остался в Лондоне, потому что у него нервный срыв. Будете меня сопровождать на премьеру, аренду смокинга я оплачу.

— Выпейте-ка вот это. Вам ничего не грозит.

Когда инспектор ушел и женщина заперлась в номере, чтобы приготовиться к организованному в ее честь приему, она собрала клочки разорванного конверта, соединила их вместе и разглядела словно бы какую-то неразборчивую подпись под фотороботом, рядом же значилось следующее: «До скорой встречи, красотка!», — она попросту расхохоталась. Надушилась и высыпала на себя всю пудреницу. Надев узкое прямое платье из алого шелка, расшитого на талии черным жемчугом, вызвала камеристку, чтобы напоследок слегка отпарить шелк прямо на теле. Пока ждала, когда приедет за ней взятый напрокат продюсерской компанией Rover 2000, чтобы отвезти во «Дворец желанных чудовищ», где планировалась премьера, у нее появилась еще одна, последняя прихоть. Инспектор вернулся в шикарном смокинге, протягивая свежий номер газеты, где заголовок во всю первую полосу сообщал: «Убийца со шнурком грозит Анжелике Г.!» В статье использовали те самые снимки, что публиковались на этой же странице в утреннем выпуске. «Порвите немедленно!» — проговорила она. И попросила инспектора отвезти ее в морг: она хотела взглянуть на тела четырех женщин, убитых маньяком.

— Вы с ума сошли! У вас нервы не выдержат! К тому же все скоро уже начнется, у нас нету времени!

— Без меня не начнут. Умоляю, отвезите меня, здесь такая жара…

Они вышли с черного хода. Встретившись с дежурившим там детективом, которого нанял отель, инспектор повертел у виска пальцем. Такси проехало мимо сверкающего фасада «Дворца желанных чудовищ», где уже собралась толпа жаждущих войти внутрь. «Все эти люди...» — вздохнула она. «Заголовки в газетах делают свое дело», — ответил инспектор. Такси поехало по китайскому кварталу: у стен домов стояли тучные женщины, державшие поближе к лицу портативные вентиляторы. Вечер был ясный, стояла удушающая жара, вокруг бурлил город. Дети снимали башмаки, чтобы отпечатать свои следы в размякшем гудроне.

— Вас как будто что-то развеселило, Анжелика?

— Вы в самом деле думаете, что нам удастся увидеть погибших женщин? Даже не верится...

— Вам не жарко? — завелся он. — У вас что, под платьем ничего нет?

Тела в морге находились в разных отделениях. Она настояла, чтобы их выставили рядом друг с другом. Ей ни в чем не могли отказать. Ни ей, ни инспектору. От двух женщин остались лишь головы, хранившиеся в узких ящиках, обитых тканью. Тела их уже были выпотрошены, и грубые руки медиков копались у них в кишках. Погибли они много недель назад. Тела двух других женщин покоились в холодильнике, родственники обеих пожелали, чтобы синий след от шнурка на шее за-

крыли лентой. Анжелика попросила отвезти их в отдельную комнату, вместе с обеими головами. Больше всего ее поразила их красота.

— Эти женщины так красивы! — сказала она. — Они гораздо красивее, нежели я. Чем они занимались?

— Ну, занимались разным трудом, — проговорил инспектор, качая головой, — убивали их в пригороде, утром, когда они шли на работу.

— Как все-таки несправедливо: они гораздо красивее, нежели я. Это они должны были стать актрисами, а я — неизвестно кем. Просто представить себе невозможно.

— Пойдемте, вы слишком легко одеты, а здесь чересчур холодно.

— Я всего лишь заняла чье-то место. Я не заслуживаю такого успеха.

Они покинули морг, вернулись к такси, водитель подвез их прямо к черному ходу «Дворца желанных чудовищ», где ждали, теряя терпение, режиссер, продюсеры фильма и несколько избранных журналистов.

— Бедная моя Анжелика, вы вся дрожите от этой жары! — воскликнул продюсер, положив ей руку на плечи. — Не бойтесь, вы ничем не рискуете. Всех в зале проверили. У дверей расставлены вооруженные полицейские. Все на вас смотрят. Пойдемте!

Толпа на улице продолжала ломиться внутрь, хотя весь театр был забит еще час назад. Анжелику посадили в пятом ряду, между инспектором и продюсером, перед началом

фильма ослепляющий свет прожектора озарил ее бледную спину и покрытые лаком волосы. Все готовились аплодировать, когда в повисшей тишине раздался пронзительный свист, освещавший затылок Анжелики луч начал гаснуть и затем вовсе исчез, превратив ее будто в видение, пятнышко, еще дрожащее, но постепенно тающее на сетчатках зрителей. Инспектор повалился к ногам Анжелики, опрокинутый прожектор рухнул с балкона, угодив, к счастью, в проход, в жутком грохоте бьющегося стекла, осколки все же кого-то слегка задели, двое полицейских стали свистеть, с балкона метнулась прочь некая тень, раздался выстрел, и поднялся прозрачный занавес над экраном, где предстало прекрасное лицо Анжелики, увеличенное в десятки раз.

Анжелика бежала по пустынной улице, время от времени оборачиваясь всем телом, желая удостовериться, что скрылась от преследовавшего ее мужчины. Одна туфля слетела, застряв в вязком гудроне, о котором мы уже здесь рассказывали, другая все еще была на ноге, так что Анжелика хромала и бежала не так-то быстро. Она не осмеливалась остановиться, чтобы, наклонившись, расстегнуть ремешок и снять вторую туфлю (мужчина уже нашел ее слетевшую пару и, принюхиваясь, совал в нее свою отвратную рожу). Потекший гудрон приставал к ступне. Старик негр пел у окна спиричуэл. Из разгоряченного горла на разные лады неслись звуки, похо-

жие на музыку к фильму. Дым таял в воздухе, словно лед в чашке кофе.

Она кралась, прижимаясь к стене. Заметив на противоположной стороне улицы тень, резко повернулась и со всего маха налетела на подвешенный к окну вентилятор, лопасти которого так и вертелись перед глазами. Тень оказалась всего лишь картонной фигурой, выставленной у входа в гастрономический магазин. Она дернула вентилятор за провод, тот разлетелся на куски и упал на землю, в волосах застряло несколько осколков. Помахав рукой, она остановила ехавшее мимо такси, села в машину и выдохнула название отеля. К счастью, лицо водителя ничем ее не встревожило, никаких шрамов не было, он не скалился, сзади болтала башкой игрушечная немецкая овчарка, над ветровым стеклом висело множество матерчатых куколок и детских снимков. Водитель рассматривал ее в зеркало заднего вида, пытаясь понять, что за женщина бегает в такой час по улице, вся растрепанная, в алом атласном платье и с одной туфлей. Смутившись от столь пристального взгляда, означавшего то ли угрозу, то ли желание, она попросила включить радио. Зазвучала музыка, что-то звенело, как колокольчики, дребезжало без устали, слышались шелесты, скрипы, инструменты словно смеялись. «Можно переключить станцию?» — спросила Анжелика. На коротких волнах удалось поймать какую-то инсценировку, и после каждого слова слышалось бесконечное эхо, будто звук

кружил, наталкиваясь на стены огромного лабиринта или какого-то склепа.

Ей стало страшно. Лицо водителя, продолжавшего поглядывать в зеркало заднего вида, внушало ей теперь беспокойство. Он мог оказаться прекрасным отцом семейства, с другой стороны, коварный убийца способен был просто угнать это такси и ехать неподалеку до тех пор, пока она не остановит машину. Теперь же он мог везти ее куда ему заблагорассудится, например, за город, в те самые предместья, где...

— Остановите! — закричала вдруг Анжелика. — Я хочу выйти!

— Вы с ума сошли! Подождите!

— Остановите немедленно!

Она вновь побежала. Она не решалась обратиться за помощью к полицейским, боясь, что выхваченное из тени лицо под фуражкой окажется в свете фонаря гладко выбритым, без ресниц, с одной лишь линией вместо рта, как на фотографии в той газете. Она метнулась по холлу отеля, спеша поскорее к лифту. Никто за ней не вбежал в тот самый момент, когда двери уже закрывались. Номер был на сто одиннадцатом этаже. Она могла немного передохнуть. «Надо сразу же позвонить Джону!» — сказала она громко. Она смотрела, как сменяются маленькие светящиеся цифры, указывающие этажи, хотя казалось, что лифт по-прежнему никуда не двигается. Она обернулась, чтобы взглянуть в большое зеркало с противоположной стороны лиф-

та. Слегка поправила волосы и посмотрела на перепачканную ногу, затем попыталась счистить с нее налипшую черную массу. Опустив ногу, она заметила, что внизу на зеркале неизвестно зачем имеется выемка. «Ах, конечно, — я совсем глупая, — это для того, чтобы можно было поставить гроб», — решила она через какое-то время. Получается, зеркало можно было раздвинуть. Она все смотрела на эту прорезь, и ей стало казаться, что отражение словно бы отдаляется, зеркало вдруг распахнулось, она вскрикнула, из черноты высунулись две руки и схватили ее за щиколотки, словно надев наручники, которые обычно защелкивают на запястьях; она брыкалась так сильно, что лифт качнулся и лампа погасла; за стеклом, на котором не было амальгамы, просвечивал тусклый свет, очерчивающий фигуру схватившего ее человека с веревкой в зубах; со всей силы ударив кулаками, она разбила зеркало, мужчина упал навзничь, но от толчка сорвался противовес, и она сама теперь стала падать, устремившись вниз на узкой платформе, от возникшего ветра ткань алого платья задралась, пряча ее глаза, словно повязка, в то время как, несясь в темную пропасть, она пыталась сорвать шелк с лица и ухватиться за что-нибудь на мчавшейся перед глазами кирпичной стене, с которой следовало сражаться, чтобы не быть раздавленной на лету; мужчина же, за что-то ухватившийся при ударе и в последний миг увернувшийся от рух-

нувшего из-под купола куска бетона, — мужчина, по-прежнему сжимая в зубах шнурок, опять запрыгнул на платформу и ринулся к ней.

Ей казалось, платформа, упав, раздавила его на амортизационном устройстве. Как сама оттуда выбралась, она не помнила. До сто одиннадцатого этажа она бежала. Наконец, попав в номер и заперев за собой дверь на два оборота, повалившись на пол и плача от счастья, она поняла, что звонит телефон. Она была спасена: мужчина теперь был лишь грудой костей, насаженных на пружину; все окна в номере закрыли до того, как она ушла. Она взяла трубку: вначале полная тишина, затем послышалось прерывистое дыхание, снова эти жаркие, смрадные выдохи. Она повесила трубку и сразу же позвонила, чтобы вызвать полицию.

— О, я как раз пыталась до вас дозвониться, — сказала телефонистка, — вас тут ждет один журналист.

— Я не даю никаких интервью! Срочно соедините меня с полицией!

— Вы в каком номере? — спросила телефонистка.

— Да все в том же, в 1013!

Она повесила трубку и принялась ждать, уставившись без всякой причины на дверь между номерами, которая все время оставалось закрытой. Позвонили из полиции.

— Да, алло, не вешайте трубку. Ваш номер прослушивается. Мы можем отследить каждый звонок.

— Но кто мне звонил только что? — спросила она в слезах.

— Так, секунду, звонок поступил не из города. Звонили из отеля…

Анжелика продолжала смотреть на дверь между номерами, она закричала в последний раз.

— Выезжаем, — ответили из полиции.

(1978)

ПАСТЬ АРСКИ

Десны у пса — черные, будто сланец. Язык — розовый, мягкий, напоминающий печень трески в масле, когда открываешь продолговатую консервную банку. Зубы — как слоновая кость, что от белого оттенка незаметно переходит у корней к желтому. Некоторые зубы — такие широкие, что по форме похожи на вершины гор. Между симметричными клыками спереди — по шесть маленьких резцов, два в самой середине — почти крошечные, кажется, что они скошены по краям под углом 45 градусов. Между языком и челюстью можно разглядеть мышечные связки фиолетового оттенка. Из пасти у пса не воняет, однако запах его отличим от любого другого животного, будь то тигр или тапир, поскольку он не столь резкий. Мне часто снится, что пес кусает мне руки и с благодарностью облизывает лицо. Бывали такие сны, когда мы с псом так льнули друг к другу, что он возбуждался, словно при случке. Мы играли в постели и мне надо было спрятать собачью сперму, я быстро комкал простыню, но отец ее разворачивал и, по-

казывая мне пятна такие большие, что это могло быть лишь песье, животное семя, ругал меня на чем свет стоит.

(1980)

ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА НЕВЫСОКОГО РОСТА

Отец запрещал заводить собаку. «Никаких животных дома не будет!» — повторял он. Он работал в санитарно-ветеринарной инспекции, проверял бойни. Был вегетарианцем. А дочка мечтала, что у нее когда-нибудь появится собака. Это была маленькая белокурая девочка с длинными волосами, вызывавшими всеобщее восхищение. Она взяла деньги, которые давали ей на карманные расходы, и пошла постриглась, очень коротко. Теперь ее сломанный, слегка изогнутый нос был на виду, равно как и шрам, оставшийся на лбу после того, как она ударилась о бетонную кадку с растениями. Ее заставляли учиться играть на фортепьяно. Она читала тайком по ночам в кровати, и однажды, зайдя в комнату, мать закашлялась от черного дыма: из-за карманного фонарика загорелось капроновое одеяло, но девочке самой удалось потушить пламя. Ее сильно поколотили, когда выяснилось, что она украла маленькую точилку в виде телевизора, а потом заставили вернуть ее в магазин. Мать прочитала дневник, который она запирала на ключ в верхнем

ящике письменного стола, однажды оставив его по ошибке открытым, мать наткнулась на описание, как дочь собирается прикончить родителей. То там, то здесь в тетрадке мелькало имя некоей Лоранс, и мать решила, что все результат ее дурного влияния, что это Лоранс придумала план убийства, и отправилась на школьный двор взглянуть ей в глаза. Она не узнала собственной дочери, которой было тогда двенадцать, поскольку, приходя в школу, та сразу же направлялась в туалет и доставала со сливного бачка сверток, в котором прятала чулки и губную помаду. Прямо на дворе мать заставила ее снять чулки и, стянув перчатку и плюнув на тыльную сторону руки, вытерла дочери губы. Ей запретили видеться с Лоранс, оказавшейся подлинной бестией, поскольку была повинна в стольких проступках.

Себе на уме, она успевала по всем предметам, не особо трудясь. Возвращалась из школы, чтобы успеть к радиопередаче «Привет, приятели!». Гулять по вечерам ей запрещали. На день рождения брат — маленький изнеженный мальчик — подарил ей диск Ришара Антони. В шестнадцать она сдала экзамены на степень бакалавра и почти сразу прошла тесты, позволившие ей учиться дальше, получая субсидию. Она собиралась заняться немецким, и летом ей позволили отправиться за границу, на юг Германии, чтобы пожить в рекомендованной специалистами семье и укрепить свои знания. Родители с братом

поехали отдыхать на море и каждую неделю получали от нее отправленные до востребования письма, в которых она описывала, как все хорошо.

Они отправились встретить ее на Восточный вокзал, поезд уже пришел, а они никак не могли найти ее на перроне. Они искали повсюду, и вдруг к ним обратилась незнакомая женщина маленького росточка, на голове у нее был темный курчавый парик, она держала на поводке фокстерьера, и губы у нее дрожали. Позади стоял высокий бородатый мужчина. Она сразу же выпалила родителям: «Пора подумать о свадьбе, я забеременела». Мать незамедлительно грохнулось на перроне в обморок; отец выхватил поводок из рук дочери и, страшно разгневавшись, стал угрожать мужику с бородой, которого видел впервые в жизни: «Я заявлю на вас за совращение малолетних!»

На следующий день все уже вошло в привычную колею: бородатого пригласили домой. Она решительно отказывалась ехать в Швейцарию, чтобы сделать аборт, и родители вынуждены были согласиться на брак. Бородач был высок, худ и бледен, он беспрестанно нервничал, а во время помолвки дважды терял сознание. Говорили, что это от проблем с кровью.

Она повзрослела, но ростом была всего метр пятьдесят пять. Вскоре она стала преподавать немецкий, поначалу замещая других в пригородной средней школе. Родила маль-

чика, затем, четыре года спустя, девочку. Купила еще несколько собак и кошек, и еще хорька, который почти сразу подох. Главным ее занятием стало следить за скидками в недорогих супермаркетах. Они купили автомобиль, стиральную и посудомоечную машины, и еще миксер и электрический нож, все это в кредит. Они ни в чем не нуждались, однако

постоянно приходилось экономить. Четыре раза в год они отправлялись полным составом в магазин «Тати» на бульваре Клиши и покупали там платья, свитера, брюки и рубашки для всех членов семьи. Он работал фотографом промышленных объектов и страстно увлекался фотоискусством, и она позволяла ему делать покупки, среди его родственников считавшиеся весьма опрометчивыми; он приобрел большой фотоаппарат, затем кинокамеру, записывающую изображение вместе со звуком, а затем видеомагнитофон. Они сменили машину. В конце концов, они решили уехать из Парижа и построить дом в пригороде. Взяли в банке кредит. Она планировала, вернув деньги банку, скопить на операцию и выправить нос. С их встречи прошло десять лет, и ни родственники мужа, ни родственники жены никогда не слышали даже намека на внебрачные увлечения или скандалы. Не было никакого сомнения: она полюбила первого встречного, попавшегося ей на глаза за пределами киноэкрана.

Ее родители собирались водрузить надувную лодку на багажник машины и отпра-

виться в отпуск, но тут им вдруг позвонил зять в крайне подавленном состоянии: «Она спит со своими учениками, у меня имеются доказательства, я заявлю на нее за совращение малолетних, я подам жалобу в Национальную ассамблею». Родители бросили надувную лодку и тотчас поехали разбираться. Звонил он, пока ее не было, от соседки. Она вела себя очень спокойно. Он плакал. Попытался покончить с собой, наевшись таблеток, ей удалось спасти его, и он ночью уехал прочь на машине. Сказал ей: «Я сведу счеты с жизнью!» Она ждала до утра, он не вернулся. От переутомления уснул где-то в поле. Зная перепады ее настроения, родители побоялись, как бы не случилось несчастья, и сразу забрали дочь с внуками вместе с собой в отпуск. Может, он их потом догонит. Она заставила его пообещать, что он свои суицидальные попытки оставит.

Они созванивались. В ее телефонной книжке он нашел номера учеников и расспросил их, один парень признался, что был ее любовником. Признания он записал на пленку и потом часто с этим парнем общался, неизвестно, что там такого они могли друг другу поведать. Он позвонил ей и, рыдая, заявил, что больше не желает с ней видеться. Потом позвонил и сказал, что нашел для нее комнату в их маленьком пригороде. Ее родители испугались, — решили, что он задумал застать ее там и прибить вместе с любовником. Мать спросила: «Ну в конце-то концов, спустя

десять лет безупречной совместной жизни, как ты можешь с такой легкостью с ним расстаться?» Она ответила: «Для меня он умер в ту ночь, когда уехал на машине, чтобы погибнуть, и я думала, что так и случилось». У детей, которым было девять и пять лет, спросили, с кем — с отцом или матерью — они хотели бы жить; те, посовещавшись, ответили, что не желают оставаться ни с тем, ни с другим, лучше пойдут к соседке, у нее восемь детей, их часто оставляли с нею по вечерам. Бабушка внезапно забеспокоилась, что внук иногда во сне стонет.

Когда они вернулись из отпуска, подали заявление о разводе, и вскоре тот состоялся. Она на время подыскала себе комнату в общежитии для молодых рабочих. Он запрещал ей приходить домой, когда он там. До тех пор, пока она не согласится с ним спать. Выяснилось, что она отказывала ему уже целый год. Он отправился переговорить с одной из ее теток и сказал той, что готов ждать сколько угодно. Она ежедневно приходила домой, чтобы заниматься детьми, пока он был на работе. Ждала, когда начнутся занятия в школе. Вышеприведенный рассказ, содержащий в том числе факты, свидетельствующие об измене, не содержит никаких сведений о желаниях упомянутой женщины.

(1980)

ДРУГ ИЗ ГЕРМАНИИ

Они встретились в субботу вечером. Он был рыжим, с густой пламенеющей шевелюрой и точеным лицом, таким бледным, что это казалось почти неестественным, кожа у него была матовая и на вкус чуть с кислинкой, как и присуще рыжим. Он был в джинсах и куртке из джинсовой ткани, на шее на шнурке висело что-то наподобие кожаного пенала, в котором лежали его документы, деньги, несколько фотографий. Он был один. Он подошел и предложил угостить выпивкой. Но он был немцем и других языков не знал, не говорил ни на английском, ни на французском. А он сам — не говорил на немецком, о котором остались лишь смутные воспоминания со времен посредственных занятий в лицее. Получалось, они не могли понять, что говорят друг другу, за исключением разве что имен и того, сколько каждому лет. Обоим было по двадцать четыре.

Он приехал из Берлина утром того же дня и до сих пор так и не нашел отеля; вероятно, рассчитывал встретить какого-нибудь типа. Другой одежды, кроме той, что на нем, у него не было. Все его имущество находилось

в висевшей на шее маленькой кожаной сумке. А у него в распоряжении на все каникулы был большой пустой дом возле парка, новый друг ему нравился, и он предложил ему переночевать. Тело его было таким же матово-белым, кисло-сладким на вкус, покрытым чернильными рисунками и изображениями разных животных: кадуцей на руке вдоль вены, ревущий лев на плече, черепа на бедрах, пронзенные сердца на больших пальцах ног, — все татуировки он делал сам. Они заснули в одной постели.

Слушая его, он вроде бы начал что-то припоминать из немецкого, и теперь сам пытался построить какие-то фразы. Его звали Ханс-Юрге, отец его был коммунистом, рабочим, оставшимся после возведения стены в 1961 году в Восточном Берлине. От родителей он ушел рано, отправился жить один в Западный Берлин, где приходилось выполнять унизительную и низкооплачиваемую работу. С семьей не виделся почти десять лет — последний раз, когда он вернулся в Восточный Берлин, его не хотели отпускать обратно, поэтому, чтобы вырваться, пришлось устраивать голодовку. Два месяца назад у него родилась дочь, но с Сюзанной — матерью девочки — они вместе не жили. Он жил с парнем, которого встретил на занятиях танцами, — его зовут Андреас, он на два года младше его. Жену с дочкой он навещал ежедневно. Он показал ему их фотографии.

Он взял телефонный справочник, чтобы найти для него отель, звонил в несколь-

ко мест, в конце концов они выбрали тот, что на рю Кюжас. Он проводил его. Номер был маленьким, с отвратительными обоями и скрипящей кроватью, тридцать два франка за сутки. Расстались они во второй половине дня. Вечером Ханс-Юрге ему позвонил, сказал, что так и не выходил из отеля, — у него поднялась температура, горло покраснело, в сыром и даже летом холодном номере его бил озноб. Вечером он отнес ему лекарства и купленные в «Макдоналдсе» гамбургер с кока-колой, попросил администратора принести еще одеял. И сам, в свою очередь, заболел.

Они снова увиделись. Пошли посмотреть «Американского друга», шедшего на рю Кюжас как раз в оригинальной немецкой версии. Бандиты предлагали безвестному рамочнику, отцу семейства, убивать разных людей, уверяя этого человека, что он сам скоро умрет, поскольку у него лейкемия. Заработанные им огромные деньги перейдут после смерти жене и сыну. Но в сведения счетов вдруг вмешивается страсть. В конце концов рамочник убивает уже равнодушно, и бандит — местный ковбой — оставляет на пленке запись: «Не бояться ничего, кроме страха». Рамочник приносит маленькому сыну гироскоп и железную проволоку для волчка, которой он несколько часов назад удавил человека. Жене он говорит: «Тебе повезло, ты ни о чем не знаешь».

Ханс-Юрге каждый день откладывал свой отъезд. Хотел позвонить оставшемуся в Бер-

лине Андреасу. Друг показал ему, как можно звонить из желтых кабинок за границу, не платя денег, при помощи простого спичечного коробка. Голос у Андреаса был печальный. Ханс-Юрге решил в тот же вечер уехать в Берлин. Перед тем, как проводить его на вокзал, он пригласил его в последний раз поужинать, и не знал, оказалась ли поведанная ему история навеянной фильмом или же это было признание. Ханс-Юрге не был танцором. Он устроился вместе с другом — Андреасом — работать по вызову, несколько раз в неделю им звонили, сообщая адрес мужчины, к которому нужно пойти, и описывая, во что одеться — как правило, в кожу. Таким образом они зарабатывали за четверть часа сумму, равную тысяче двумстам франкам. Однако, занимаясь проституцией, Ханс-Юрге следовал своего рода нравственным принципам, как следовал им при убийстве герой «Американского друга»: каждую неделю он откладывал в банке тысячи марок, предназначавшихся дочери, когда та вырастет. Он купил ради нее страховку на случай собственной смерти и надеялся погибнуть в аварии до того, как ему исполнится тридцать. Если никакой аварии не случится, он сам покончит с собой в возрасте тридцати лет, разыграв самоубийство в виде несчастного случая, чтобы дочь могла получить за него компенсацию. А пока он собирался накупить ей игрушек на те деньги, что у него еще оставались. На вокзале Ханс-Юрге произнес: «По-

звоню тебе, как только приеду». И перед всеми, кто стоял на перроне, крепко его обнял.

(1980)

ФОТОКРИТИК*

К написанию статьи он готовился с маниакальной страстью — чистил зубы, мыл руки и старался опорожнить желудок, а перед тем, как взять бумагу, — мыл руки снова. Дабы ничто в дальнейшем не отвлекало, он, как правило, мастурбировал, — опустошал себя, вычищал, чтобы тело было словно выскобленная доска.

Два-три раза в неделю он заходил в редакцию газеты, чтобы забрать почту из серого ящичка, на котором значилось его имя. Конверты он сразу выкидывал. Это были всего лишь рекламные листовки — галереи сообщали о будущих выставках. Так он несколько раз в неделю узнавал, что его где-то ждут. Книги до него таким путем дойти не могли, поскольку их воровали.

На открытия выставок он никогда не хо-

---

* Эти биографические заметки были составлены на основе найденного дневника Пауля К. и его критических статей о фотоискусстве, печатавшихся в газете Die Zeit с 1950 по 1955 гг. *(примечание Эрве Гибера)*.

дил — страшился нападок, а в глубине души, должно быть, презирал людей, которых мог там встретить. Он сторонился подобных мероприятий, испытывая что-то наподобие паранойи, свойственной сотрудникам газеты, в которой работал. Персона его оставалась тайной.

Он знал, что ему платят за самоопустошение. Что силы его устремляются куда-то в сторону от того, что принято у пишущей братии. Когда настроение у него было хуже некуда, он представлял себя амфибией, прибитой к доске из пробки, — еле дышащей, но все еще дергающейся, когда изредка ее бьют током. Если говорить о фотоискусстве в целом, ему редко попадалось что-то, способное его спровоцировать, оживить, побудить что-либо написать. И все же — даже тогда, когда ему нечего было сказать, — следовало об увиденном отчитаться — работал он в ежедневной газете, и платили ему за написанное.

Из-за какой-то нелепой, быть может, порядочности, он наведывался во все места, куда его звали. Даже тогда, когда выставка была совсем незначительной, чтобы о ней что-то писать в газете. Когда же следовало составить критический отзыв о книге, он прочитывал ее до конца, до последней строчки, пусть и была она неинтересной и уже ничего не добавляла к тому, что говорилось в начале. Согласно своему правилу, он никогда не поль-

зовался цитатами — переписывание казалось скучным, он говорил себе, что его слово стоит столько же, сколько чье-то другое.

Порой, когда объем статьи, которую следовало написать, был устрашающим, или когда тема оказывалась незнакомой, он изучал источники и все, с ними связанное, и делал заметки. Новые сведения переполняли разум и рушили ход его собственных мыслей — он не знал, чему должен следовать. Поэтому он часто предпочитал чего-то не знать, опасаясь, как бы письмо его не застопорилось и он не стал жалким поденщиком.

Приходя в галерею, он вначале осматривал ее целиком, быстро. Потом, почти планомерно, делал для себя записи. Подходил к каждому снимку, отмечал детали, гораздо реже — свои впечатления, составлял описание. Подобные наблюдения позволяли ему сохранять память незамутненной до того момента, когда настанет пора сесть за статью. О самих изображениях, большая часть которых ему не нравилась, вспоминать было страшно.

Принимаясь за статью — часто, чтобы от этого просто избавиться, потому что писать ему не хотелось, — он возвращался к пометкам и почти все перепечатывал. В работах всегда были вещи, детали, что-то для него значившие, и они словно бы насмехались над его собственным воображаемым миром. К ста-

тьям его предъявляли претензии, что они чересчур описательны и многословны.

Но часто случалось и так, что записями он вовсе не пользовался. Он чувствовал себя вправе сказать что-то резко и тогда уже не описывал, а разносил в пух и прах, выдавая себя за интеллектуала (которому ничего не грозит?).

Иногда по ночам он просыпался, все еще утомленный тем, что увидел, — картинки мелькали перед глазами впустую, вызывая бессонницу, заменяя собой слова (фразы ему давно не снились). Картинки эти не были страшными, не были ясными, отчетливыми, но голова переполнялась ими (это значило, что организовывалось все там, внутри, не так, как положено: они занимали место людей, декораций), он чувствовал себя обязанным облечь их в слова, это и было кошмаром. В общем-то, обычным кошмаром газетного служащего.

Он не вполне понимал, что толкало людей фотографировать без остановки, с такой страстью бегать с аппаратом среди толпы, в любой ситуации. С большим пониманием и даже некоторым уважением он относился к фотографиям семейным и фотографиям эротическим. Они не были претенциозными, запечатленные на них выражения чувств, желаний казались вполне естественными. Фото-

графирование чаще всего казалось ему занятием для ленивых, довольных жизнью.

Перед каждой статьей накатывал страх, это была словно легкая пытка. Он знал, что на следующий день, в это самое время газета уже выйдет с его статьей, но пока даже не имел представления, с чего начать. Скорость, с которой мысли облекались в печатную форму, его ужасала (а ведь при этом он не участвовал в стольких этапах: набор, корректура, верстка, печать…). И всегда был какой-то риск, опасность сделать что-то, способное навредить газете, он ощущал ответственность.

Он складывал номера газет в стопку на полу возле стола. Иногда он брал их и вырезал свои статьи, а потом убирал их в папку. Но никогда не перечитывал.

Ему бы хотелось, чтобы писем оскорбительных или ободряющих было больше.

Почти все время, когда он писал статью, казалось, получается хуже, нежели предполагалось в начале. Приемлемым становился только текст, отпечатанный на машинке, тогда от него уже можно было избавиться.

У него самого фотоаппарат был маленький (Rollei 35), если бы эту модель увидели специалисты, считавшие его настоящим кри-

тиком, то засмеяли бы; сам он считал, что рынок техники просто перенасыщен; считал, что для снимка достаточно одного лица, довольно одной вещи, сцены; в качестве фетиша воспринимал лишь фотоаппараты огромные, ровно так писатели относятся к вещам марки «Монблан». Он никогда не выходил на улицу с фотоаппаратом, полагая, что сейчас его поразит нечто и он сможет заснять это на пленку. Ждать чудодейственного мига казалось ему просто потерей времени. Но ему нравилось фотографировать лица и тела тех, кого он любил. Порой он намеревался долго снимать в каком-нибудь одном месте, неотвратимо следуя замыслу (шрамы на лицах, пятнадцатилетние подростки вместе с их матерями, покойники в моргах), но потом быстро сдавался из-за сложностей, связанных с нескончаемыми хлопотами и организацией самого процесса.

Он жил, пытаясь беречь свои силы: сознательно старался, чтобы тело отдыхало, а потом, если можно так выразиться, просто уничтожал его, сводил на нет, когда требовалось рано вставать, чтобы писать статью, и самым неприятным было, что он, подобно рабочему, превращался в производственную машину, и тело должно было подчиняться, а сон оказывался частью цикла, рабочей фазой, чтобы только восстановиться, отринув всякую негу.

Обстоятельства принимали дурной оборот: когда он должен был писать статью, ему вдруг хотелось писать что-то для себя, когда же статья была готова, пора уже было думать о следующей. И теперь он лишь делал краткие записи в своем дневнике, все реже и реже.

На середине статьи, которая писалась легко, ему внезапно захотелось дойти до грани, чтоб аж затошнило, опротивело, захотелось писать очень сложно, но процесс письма не мог идти сам по себе, и тогда он с неистовой силой принялся поглощать рождественские шоколадки, словно они были отравлены.

Он должен был писать статью об Августе Зандере, когда температура вдруг поднялась, вероятно, по той причине, что написать ее он не мог. Он был поражен безупречностью его снимков, всем безумным проектом Зандера, поставившего целью создать в межвоенной Германии энциклопедию социальных слоев, базирующуюся на морфологических типах. Ночь выдалась бурной: он беспрестанно переписывал текст, пытаясь передать свои мысли как можно точнее. В семь утра курьер пришел за статьей, а он все еще сидел возле печатной машинки.

Поскольку в фотографиях Зандера читалась попытка быть «объективным», он тоже захотел быть объективным в своей статье,

привести биографические данные, дать простое определение труду настоящего мастера. Однако, когда температура понизилась и он перечитал статью через несколько дней, он увидел в ней свидетельства болезни и одиночества, понял, что посредством снимков, все же остававшихся для него чужими, всего лишь рассказывал о самом себе.

(1980)

ТАИНСТВЕННОЕ ТРИО

54 Н.Б. — деловой человек, род занятий которого понять трудно. Действительно ли он врач, как порой заявляет? Правда ли, что он сам трижды в год садится за штурвал этого самолета, направляясь в Африку? На какую конференцию он собрался, прихватив столько чемоданов, полных шприцов и склянок? Откуда у него шрам, из-за которого губы расположены не совсем симметрично? Он возвращается из Вашингтона, где принимал участие в конференции, регулярным рейсом «Конкорда», длящимся 13 часов. По пути он побывал и в Нью-Йорке. Он близко знаком со старшим стюардом, поскольку часто путешествует этим рейсом, и всегда просит посадить его в первом отсеке. Зайдя в самолет, он замечает потрясающей красоты юношу, с одной стороны от которого сидит мужчина лет пятидесяти, с другой — женщина чуть моложе, одетая во все черное. Они направляются во второй отсек. Н.Б. отыскивает старшего стюарда и говорит, что ему решительно надоело путешествовать в первом отсеке, и просит посадить его во второй. «Нет ничего проще, — отвечает стюард, — все хотят сидеть в первом отсеке». Н.Б. за-

метил, что странное трио расположилось почти в самом конце второго отсека, и настаивает, чтобы ему дали место еще подальше. Наконец он садится в кресло в последнем ряду, откуда может спокойно наблюдать за трио, центральная фигура которого стала предметом его вожделения.

Подают еду, к которой он не прикасается, занятый исключительно разглядыванием затылка светловолосого юноши. Он обдумывает всевозможные версии, что же объединяет трех персонажей: кто эти мужчина и женщина? Быть может, это родители юноши? Или он любовник пожилого человека, но кто в таком случае женщина? На всякий случай, если ему придется позже рассказывать эту историю кому-нибудь из друзей, он старается запомнить, во что одеты мужчина и юноша, но тут ничего необычного — оба в спортивных костюмах. Женщина, в отличие от них, держится очень чопорно, и вот она — во всем черном — черное платье, черные чулки, черные туфли, черная сумочка на коленях. Она часто обращается к юноше и порой чуть ли не оборачивается к разглядывающему их сзади мужчине. Все трое разговаривают на американском английском, но редко, поскольку пробуют аппетитные кушанья.

В конце концов юноша оборачивается, чтобы взглянуть на Н.Б. Оборачивается он несколько раз. Во второй раз они уже пытаются переговариваться глазами, приподымают брови, показывая, вероятно, что не могут ничего сказать вслух. Потом юноша встает, чтобы

пойти в туалет, расположенный между первым и вторым отсеками. Н.Б. за ним не идет, поскольку подобная ситуация никак не вяжется с его предельным замешательством. Он вытаскивает из кармана свою визитную карточку и пишет под личным номером телефона номер бюро и следующие слова: «Мне бы очень хотелось как-нибудь с вами встретиться». Затем прячет визитную карточку обратно в карман. Юноша возвращается на свое место, на него даже не глядя, вероятно, чувствуя, что мужчина и женщина за ним наблюдают. Разговор между ними возобновляется, и Н.Б. пытается разобрать, о чем речь: он слышит лишь названия городов — Париж, Венеция, — поскольку другие слова произносятся слишком тихо. У женщины сильный французский акцент.

Н.Б. снова заинтригован, и еще пуще прежнего, относительно того, что же объединяет эту троицу. Он отправляется к старшему стюарду и говорит с безразличным тоном, даже не утруждаясь дать ему чаевые: «Кажется, я уже где-то видел этих троих, сидящих в конце отсека...» — и как бы невзначай обрывает фразу, помалкивая до тех пор, пока стюард не удовлетворяет его любопытство, охотно протягивая ему список всех пассажиров. Н.Б. с легкостью отыскивает имена троих пассажиров по номерам кресел и, к большому удивлению, обнаруживает три разных фамилии. Женщина, в самом деле, — француженка. Юноша, разумеется, — американец, — Стив чего-то там. Мужчина же оказывается голланд-

цем. Старший стюард бросает, что это какая-то важная птица, но большего он не знает.

Самолет приземляется. Н.Б. не смог улучить момент, чтобы передать юноше визитную карточку с номером телефона. Тем не менее, все это время они продолжали переговариваться одними взглядами, подмигивая и приподымая брови. Пассажиры встали со своих мест, и юноша по-прежнему зажат между мужчиной и женщиной. Кстати, Н.Б. не удивился бы, если б женщина прознала про их уловки. Выйдя из самолета, путешественники один за другим должны пройти таможенный контроль, следуя по узкому проходу, отделенному двумя занавесками, после которого надо сначала подняться, а потом спуститься по длинному эскалатору. Н.Б. отделяет от юноши большая толпа людей; первые уже заняли очередь к контрольному пункту, он держит в руках визитную карточку. Когда все трое походят к таможне, юноша нарочно отходит в сторону, пропуская вперед мужчину и женщину, чтобы они на короткое время скрылись за занавесками, оставив его в одиночестве. Тогда Н.Б., без зазрения совести расталкивая путешественников, пробирается к юноше и украдкой вручает ему визитную карточку. К тому моменту, когда юноша проходит за занавески и оказывается на эскалаторе, где на него сверху оглядываются мужчина и женщина, карточка уже лежит у него в кармане.

В тот же вечер Н.Б. рассказывает о своем приключении одному из приятелей. Он очень обеспокоен и в то же время до крайности воз-

бужден: позвонит ли ему этот юноша? Разрешится ли каким-нибудь образом ничтожная интрига? На следующий день он никак не решается отлучиться из бюро в привычное время, боясь, что юноша вот-вот позвонит. Следит из-за стенки, за которой сидит секретарша, за всеми звонками. Наконец он слышит, как та с акцентом говорит по-английски

и сразу же нажимает на кнопку переговорного устройства: «Давайте его сюда!» — приказывает он. И вот наконец он слышит голос того самого юноши, шепчущего в трубку: «Я — Стив, мы встретились с вами вчера на борту “Конкорда”, не могу говорить громче, я сейчас дома, в общем, все сложно, я вам потом объясню...» Он просит о встрече. Н.Б. приглашает его пообедать на следующий день в «Клозери де Лила». И сразу заказывает столик в самом удобном месте за аркой. Приходит юноша. Его зовут Стив, ему девятнадцать. Отец умер, когда ему было девять, вначале он оставался с матерью, но они не ладили и его отправили к лучшему другу отца, богатому голландскому барону Штефану Дж. У того есть дом в Палм-Спрингс, в Колорадо*, одна квартира в Нью-Йорке и одна в Париже, на авеню Монтень, дом в Италии, близ Рено, и дом в Бельгии. Он никогда не ездит без ясновидящей, той

---

* Оговорка: в штате Колорадо расположен город Колорадо-Спрингс, Палм-Спрингс находится в Калифорнии (Здесь и далее, за исключением отдельно оговариваемых случаев, приводятся примечания переводчика).

француженки, одетой в черное, которую зовут Франсуаза Ж. По ее словам, она постоянно видит тень умершего отца, что следует по пятам за сыном.

Желая вознаградить его за успешно сданный экзамен, человек этот — Стив зовет его «крестным» — повез юношу в путешествие по главным европейским городам — сначала Париж, потом Венеция, затем Лондон. Это ясновидящая указала ему на Н.Б. в самолете, из-за невероятного сходства с умершим отцом. Эта женщина, как и мужчина, незаметно следили за тем, как они обмениваются взглядами. Юноша был вынужден признаться, что незнакомец дал ему свою визитную карточку, поскольку, в любом случае, ясновидящая это бы почувствовала. После телефонного звонка и приглашения на обед Штефан Дж., голландский барон, «крестный», вызвал юношу в свой личный кабинет вместе с женщиной. Он предупредил Стива о нравах некоторых французов. Однако ясновидящая сказала, что он может спокойно идти на встречу, ему ничего не грозит. В конце концов юноша должен был удалиться, чтобы Штефан Дж. посовещался с ясновидящей наедине, следует ли смириться и позволить протеже встретиться с точной копией покойного друга. После обеда Н.Б. с юношей занимаются любовью.

(1980)

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Полгода назад он вернулся в тот дом и снял белый воротничок. Можно было заметить, что воротничок сделан из пластика, а не из гофрированной материи, которую прежде отбеливали и крахмалили. По его словам, он продолжал носить этот воротничок ради деревенских старушек, привыкших к былому укладу: если нет человека в черной сутане с белым воротничком, то нет и кюре, стало быть, тогда и слушаться некого.

Очень скоро он объяснил, почему стал кюре: на самом деле, он хотел избежать общих правил, согласно которым ему в надлежащем порядке полагалось жениться и получить надежное место в банке. Он перестал встречаться со своей девушкой и поступил в семинарию в С.

Он вернулся туда, в тот дом с белыми стенами, — в дом иностранца, — куда ему так хотелось попасть: там стояла тишина, однако она вовсе не давила, как могущественное безмолвие в церкви. Все здесь ему нравилось, контрастируя с отсыревающей и скаредной чернотой в доме священника, который вела

его мать, старуха-молельщица: во всем преобладали белые оттенки, цвет небеленого льна на стенах, украшенных белыми, старинными, потрескавшимися тарелками, матовая белизна чистых скатертей на круглых столах, изысканные, почти стершиеся трогательные рисунки с языческими мотивами, проглядывающими обнаженными торсами. Едва он узнал от бывшей проститутки, распространявшей сплетни, что иностранец вернулся в деревню, как сразу же позвонил ему, чтобы спросить, не может ли прийти в гости на ужин: «Еду я принесу с собой», — сказал он. Но иностранец ему отказал. «Можем обойтись без еды. Просто обнимем друг друга», — сказал молодой кюре. «Я сам зайду в церковь, чтобы договориться о встрече», — ответил тогда иностранец, не спешивший принять кюре у себя дома. Он его немного побаивался, подозревая, что дальше последуют избитые фразы и наставления на путь истинный заблудшей овцы, которой он, несомненно, считался, поскольку его сексуальные предпочтения ни для кого не были тайной. Но при этом сказал себе: «Быть может, все наоборот, и ты разволновался из-за него», — и решил отправиться в церковь.

Было начало Страстной недели. Девичий хор, слышавшийся снаружи, пел с неземным упоением, временами среди остальных вдруг явственно различались высокие голоса мальчиков. Кюре стоял на верхней ступени у ал-

таря, воздев руки напротив больших сосудов, где по обеим сторонам свода цвели срезанные розы. Вереница старух в черном спешила припасть к его стопам, протягивая цветы, с которых они украдкой сняли шипы, попрятав их по карманам, чтобы не поранили белые длани молодого аббата, протягивавшего им причастие и очаровавшего уже многих. Через несколько дней Христа начнут бичевать, и вонзившиеся в голову шипы во время распятия усилят Его мучения. Но менее, чем через три дня, он воскреснет в слепящем вихре, и лишения, которые все претерпели во время поста, окажутся не напрасными, завершившись апофеозом. В это воскресенье отряд католиков медленно шествовал по узеньким деревенским улочкам, отмечая Вербное воскресенье. Все несли перевязанные ленточками букеты пальмовых листьев, во время освящения протягивая их вперед, дабы несколько скупых капель из благоуханного облака упали на ветки. Мать кюре достала расшитые золотом ризы, вызывавшие гордость за сына, занимавшего столь важное положение. Смущаясь, примеривая облачение перед большим овальным зеркалом в ризнице, молодой кюре вынужден был прикрикнуть на проказничавших детишек из хора, которые давились от смеха.

На следующий день после Вербного воскресенья, ровно в восемь молодой кюре постучал в дверь того дома. Он принес торт,

заказанный у кондитера в соседней деревне, три лежалых апельсина и несколько квелых ромашек со слишком длинными стеблями, которым не нашлось места в вазе. В этот раз кюре воротничка не снимал. Тем не менее, отметив, как нравится ему белизна и тишина этого дома, он принялся рассуждать о своих убеждениях: он служит в деревне уже больше года, живет тихой жизнью среди набожных старых женщин, его часто приглашают в гости и потчуют, словно он неимущий, желая искупить жирным куском удары центурионов, до тех пор, пока его тощий живот не раздуется, будто шар. Он сочиняет проповеди и порой его зовут к умирающим, в этом и заключается его труд, к которому надо еще добавить жалкое ведение бухгалтерии и составление благочинных писем. Прошлым летом он приютил группу молодых скаутов, с которыми вместе играл в спортивные игры, купался и порой спал в непосредственной близости, сохраняя невинность. Старые прихожанки, словно хор цензоров, выступали против того, чтобы он вел службу без полного облачения или невзначай показался без привычного воротничка, даже пересекая площадь в три часа пополудни. Их признания на исповеди его просто выматывали, он знал все детали сексуальной жизни деревни и, когда наконец выходил из-за лиловой занавеси, что скрывала тайные излияния, у него было одно только желание — скорее пойти выпить кофе в баре напротив храма. В то же самое

время он уже не считал церковь машиной борьбы и власти, служившей лишь определенному классу и благословляющей притеснение всех остальных. И не мог больше отпускать грехи, основываясь лишь на тех сводах правил, какими руководствовались прежде: сексуальные отношения, например, о которых чаще всего рассказывали на исповедях, уже не делились со всей ясностью между добром и злом. Никто уже не считал мастурбацию чем-то порочным, а тринадцатилетние девочки, уже кому-то дрочившие, отсасывавшие и даже сами раздвигавшие ноги, более не казались порождениями геенны.

В конце ужина, кода настал черед миндального мороженого с конфитюром, он решил рассказать о чем-то особенном. Поведав о кончине Римского Папы, словно он сам при этом присутствовал, опровергнув всякие подозрения об убийстве, что передавались из уст в уста, он отважился испросить совета. Речь шла о трех юношах, прежде слывших его друзьями, возрастом чуть помладше — всем троим исполнилось по двадцать четыре, один из них был покрепче и на вид немного застенчивый, нежели двое других, — познакомившись с девушками, они решили однажды — вначале из простого любопытства — как-нибудь по-особенному развлечься. Они сказали ему: «Мы пришлем тебе сверточек, и ты рассудишь, что там к чему». Неделю спустя кюре получил восемь любительских пленок

с запиской: «Посмотри, что мы тут вытворяем, забавляясь сначала с малышками, а потом и друг с другом. И скажи, что из этого самое распаскудное». Кюре отправился за проектором к монахиням в соседнюю деревушку, чтобы посмотреть фильмы, он не поверил своим глазам, теперь же хотел посмотреть пленки в компании с иностранцем, дабы расспросить его о кое-каких вещах, проектор и фильмы лежат у него в багажнике, надо только за ними сходить. Оставшись один, иностранец не знал, что делать: то ли рассмеяться от удивления, то ли просто расслабиться, страшась того, чем может закончиться такого рода показ. Было очевидно, что кюре попросту выдумал всю историю, чтобы появился повод сказать ему о своих желаниях, о которых в исповедальне сказать он не может, поскольку знает, к чему приводят подобные откровения, рассматриваемые потом, словно полицейские рапорты. Когда кюре возвратился, его бил легкий озноб, в руках у него были две небольшие коробки, он принялся их разворачивать. Следовало убрать со стола, задернуть занавески и снять одну из картин, освободив белую стену вместо экрана. Первые два фильма оказались датскими, другие два были американскими. Кюре выключил свет.

Два наездника дрочили друг другу, сидя в седле на лошади. Потом они соскочили в траву, чтобы, как он говорил, «дать в рот и подставить зад». Это был уже второй фильм,

«наиболее впечатляющий», как сказал кюре, но быстро спохватился, воскликнув: «Ах нет, нет, это в следующем!» Увидев голого парня на палубе корабля, он выдохнул: «Совсем мальчик!» Но мальчику полагалось пережить непременную цепь надругательств, которая, кажется, ему нравилась. Глядя на эти банальные кадры, снятые словно в кругу семьи, отпечатывающиеся на стенах, кюре принялся мысленно совмещать их с некоторыми изображениями на фресках и картинах в собственном храме. Внезапно ему померещилось биение крыл, растущих прямо из голой спины, мелькнули бледные бедра. Он мечтал о небесном порно.

Ангелам, как представляется, было от пятнадцати до восемнадцати. Голыми ногами они отталкивались от мягких воздушных масс, в которые потом падали, смеясь переливчатым смехом (хотя фильмы, отображавшиеся на стенах, были без звука). Их щиколотки обвивала тонкая сеть, сделанная из кожи, снятой с самых укромных мест на брюхе гиппопотама, она покрывала ноги до самых ляжек, оставляя на виду округлые мышцы. Их ногти были подобны ониксу, а малиновые губы смеялись, демонстрируя белизну слоновой кости. Их рельефные тела поросли еле заметным золотистым пушком, ладони же были гладкими, как будто бы полированными. Их движения порождали вокруг волшебную музыку. Наконец, их члены

были убраны в золотые скорлупки или дубленые кожаные чехлы, которые они отвязывали, чтобы тереться о ягодицы и метать струи. Тогда они, словно радостные щенки, обнюхивали и лизали друг друга, покусывали, посасывали, соревнуясь у кого какой член, а затем их заглатывали, все живее работая ртами, чтобы испить молочного лакомства. Некоторые играли, пихая их меж округлых упругих ягодиц, терлись членами о лица друг друга, касаясь век, опутывая их длинными золотыми кудрями, испытывая от этого еще больший восторг. Присутствуя на первом содомском спектакле, кюре спросил: «Неужели такое и правда возможно?» Он покинул дом, даже не попросив оставить все это в тайне.

Три дня спустя, гордясь своими достижениями, кюре обратился с речью к толпящимся в церкви: «Совершаемое нами ныне — не театр! — возгласил он. — Это Христова истина!» Двенадцать детей, которых выбрали из-за цвета глаз и золотистых кудрей, в белых стихарях поднялись с двух сторон в алтарную часть, они были босыми и слегка раскраснелись. Органист взял низкую ноту, звучащую все значительней, разливавшуюся во всем пространстве под сводами. Служка принес таз, кувшин и белое полотенце. Склоняясь к детским ногам, аббат поливал водой тощие лодыжки, с наслаждением смотрел, как вода струится меж пальцев, все это длилось довольно долго, так что в последних рядах уже

теряли терпение и вставали на цыпочки, чтобы глянуть, что там творят с их детьми. Омыв ноги, кюре каждый раз подымался с колен и прикладывался губами ко лбу ребенка. Никто не смеялся, даже тихонько, соблюдая торжественность церемонии, возможно, детей предупредили заранее. Затем всех будто смыло в одно мгновенье, толпа исчезла, дети, по-

быстрее надев башмаки, разбежались. Кюре остался один, внезапно он вскрикнул, но никто этого не услышал.

В тот же вечер, довольный, что толпа приняла его душевную причуду за проявление чего-то естественного, он решил все усложнить новой блажью. Захотел пересмотреть фильмы, казавшиеся ему божественными, включая проектор в местах самых разных. Захотел, чтобы картины ангельского порока отобразились на голых камнях первых гробниц, даже на кружевном алтарном покрове, а потом еще в темных ночных ландах. Он смастерил устройство, позволяющее подключать проектор к аккумулятору автомобиля, к лучу устремлялись со всех сторон светляки, и на подвижном туманном ночном экране, которым шелестел ветер, тривиальные действия уподоблялись дождливым картинам, спасающим от сухости и жары.

Он хорошо знал анатомические рисунки Леонардо да Винчи, о котором у него была книга, и в свете магического фонаря каждое тело виделось ему теперь архитектур-

ным сооружением с овальными украшениями, колоннадами, каналами и артериями, трепещущими дрожащими темными массами, в которых таилась жизнь. Его ангелы не были существами бескровными, не были паром, небесными одеяниями потерянных душ или эманациями умершего детства, он видел лишь сверкающие оттенки красного, алчущие прикосновений, вздыбливающиеся внизу живота, он хорошо знал мучения, вызванные эрекцией, с которой ничего невозможно поделать.

Он хотел теперь проецировать картины падения прямо на небе, однако изображения, не находя никаких препятствий, растворялись в бесплотных лучах. Он принялся искать во тьме что-нибудь белое. Вначале ему попалась какая-то птица, она лихорадочно метнулась в сторону, так быстро, что картина морока отобразиться на ней не успела. Однажды ночью, когда он прождал целый час, розовый оттенок человеческой плоти окрасил перистый треугольник сипухи, ослепшей вдруг на мгновенье. Когда при таких попытках он вертел проектор в разные стороны, мотор кашлял, лампа нагревалась быстрее. Ему не нравилась ночь, черная, как и его одежды, он предпочел бы свет дня, но тот был для него под запретом. В другой раз — последний — на свет пришел потерявшийся ягненок, он увидел в этом пасхальный знак и бросил свою затею.

В Страстную пятницу, когда разыгрывалось шествие на казнь, он возглавлял процессию, пересекавшую всю деревню, сам нес на плече крест, а перед глазами по-прежнему мелькали картинки вычурных эскапад, которые еще не успели выветриться, кюре чудилось, что люди плюют ему в лицо, но он при этом не отворачивался. Молитвенную речь его усиливал микрофон; внезапно один хорист, несший в руках динамик, обогнал его и пошел впереди, тогда на спине, покрытой белым стихарем, он увидел детский рот, в который пихают член, это словно была приклеенная насмерть переводная картинка, сокрытая от чужих взоров. Пот тек ручьями. Тоскливые аккорды труб сопровождали его путь на голгофу.

(1981)

ЗАВЕЩАНИЕ МАО ЦЗЭДУНА

Поскольку жена моя бесплодна и сына у меня быть не может, я завещаю бóльшую часть своего царства женщине, любившей меня сильнее других, мадемуазель Шу Пин, педикюрше. Ей полагается мой зеленый сиамский дворец в Тободукуре или — на ее усмотрение — сумма в четыре миллиарда иен при том sine qua non, что она обещает большому совету продолжать заниматься моими ногтями (см. абзац той части завещания, что касается ухода за останками), ведь это та часть моего тела, за которой — охотно признаюсь — мне бы хотелось, чтобы она приглядывала, содержа в ослепительном блеске еще долгое время, вплоть до ее собственной кончины. Ей вменяется использовать самые ценные средства и лаки наподобие тех, что требуют особых хитростей при создании образа для публичных мероприятий, ибо я с самой молодости, когда еще не было ороговевших наростов, относился к такому очень внимательно, стараясь смазывать ноги жиром диких свиней, очень нежным и придававшим ногтям особенный блеск. Так что пусть эти части моего тела со-

хранят былой вид, поскольку я дорожу ими как самим собой.

Другую значительную часть состояния, иначе говоря, мой летний синий дворец слоновой кости в Чомотикире с озером и оргиастическими пагодами, в денежном эквиваленте равную двум миллиардам иен (и да не оскорбит эту ранимую душу столь явно не выгодная позиция в перечне моих предпочтений, поскольку мадемуазель Шу Пин — любимейшая моя фаворитка), оставляю моему английскому преподавателю пения, прелестнейшей Пэт Брайтон, которая ежедневно лощила до совершенства мои голосовые связки, отдавая все свои силы, прибегая к изысканным средствам мягчайших тканей, помад и бальзамов, без нее мои выступления были бы похожи на те ошметки, что швыряют на съедение крысам*. Ей также обещаю я это вознаграждение при условии, что она продолжит заниматься своим особенным делом, подобным игре на благороднейшем инструменте.

Оставляю по десять тысяч иен моему парикмахеру, месье Ти Ви Ки и моим слугам Пину и Пону**, и трем моим обожаемым ев-

---

* Допуская подобную оговорку («крысы» вместо «котов»), Мао себя выдает, подтверждая теорию китаеведа Жана Сирупу, утверждающего, что династия Мао тайно растила армию крыс. *(Примечание Эрве Гибера)*.

** В этих двоих можно узнать сверхчувствительных сиамских близнецов, братьев мадемуазель Шу Пин. *(Примечание Эрве Гибера)*.

нухам, что каждый вечер, сменяя друг друга, обмахивали меня, возвращая к жизни, которую занятия политикой делали слишком тяжелой и горестной. Прошу их принять такое выражение благосклонности без осуждения, народ не поймет, если я раздам все богатство неженкам ради их тихих радостей. Желаю, чтобы данное завещание было спрятано, так как опасаюсь, что неблагодарный народ по особой своей восприимчивости усмотрит в нем следы ностальгии владыки. Учреждаю новую коллегию по надзору за тем, какую жизнь ведут мадемуазель Шу Пин и Брайтон, дабы проявили они должное уважение к последней моей воле, а также за тем, что народ живет по принятым правилам, дабы он по-прежнему меня обожал, как я того пожелал в официальной версии завещания. Пусть во дворцах Тободукура и Чомотикира еще долго поют прославляющие меня куплеты, пусть забальзамированное тело мое станет самым ценным сокровищем, которому будут все поклоняться.

М. Ц.
9 мая 1964

(1981)

ПОСЛАНИЕ СОБРАТУ ПО ПЕРУ

Эжену Савицкая

Я сходил за твоей книгой в издательство. Тираж еще лежал в ящиках средь соломы. Я хотел заполучить книгу до того, как она выйдет, до срока. Я взял ее в руки, и было так приятно ее открыть, закрыть, открыть снова, не читая, выхватить несколько строчек и по первым же словам узнать тебя.

Но ты — ты далеко, в Л., — ты не приехал даже для раздачи автографов и, скорее всего, вообще не появишься. Мне сказали, что ты наконец-то отправил в пресс-службу свои фотографии, которые у тебя так долго просили, и что они невзрачны, ты все еще прячешься, не показываешь лицо. Ты ведь знаешь, что мне бы хотелось тебя поснимать.

Я выхожу на улицу, я один, со мной твоя книга. Она вложена в газету, на обрез попадает изморось. Начинаю беспокоиться, вновь на нее смотрю и замечаю на обложке синие капельки в точности того же оттенка, что и каемка. Я не подумал о том, что клочок бумаги, на котором я записал телефонный номер, мог перепачкать книгу. Быть может,

невольно, и одновременно того желая, письмо мое устремилось сквозь обложку к тому, что написал ты. Я распахнул пальто, чтобы защитить книгу, прижав ее к телу, затем застегнул пуговицы свободной рукой, продолжая держать книгу у сердца, поскольку она во время ходьбы хотела соскочить поближе к моему члену. Прикосновение к книге меня словно бы облучило, что-то проникло внутрь, и я начал представлять, что напишу письмо, которое тебя смутит, возможно, приведет тебя в замешательство, будучи непристойным, во всем противоположным твоим лаконичным фразам, вежливым сдержанным благодарностям. Во всем противоположным твоим каракулям и изысканным иероглифам — твоим собственным письмам — набухшим, наполненным смыслом сокрытым и откровенным. И уже пошли внутри первые фразы.

Я люблю тебя в том, что ты пишешь. Я люблю тебя, когда ты пишешь. Я люблю то, как ты в этот момент выглядишь, я люблю твои длинные жесткие волосы, светлые, бледные, растрепавшиеся, пока ты пишешь (никогда не стриги их), и я люблю твою белую шею, и твой затылок, и твои пальцы, и даже твои ноги, твой зад, твою кожу, твою негу, все это — в напряженной неподвижности письма. В это мгновение мне бы хотелось приблизиться к твоему телу, ласкать его, обволакивать и, быть может, раствориться

в нем, слиться с ним воедино, чувствуя движения, когда твои руки путешествуют по бумаге.

Конечно, мне никогда это не будет дано, и мне хорошо знакома потребность в уединении. Я грежу о братстве по перу, но письмо мое вовсе не призывает тебя его со мной разделить, — я твой тайный жених, твой поклонник, которому будет сложно открыться.

Если бы кто мог о таком спросить — о, вот о чем я мечтаю неудержимо, по-детски: «Представьте себе, что Эжен напишет страницу, читать которую будет великой радостью, однако для этого вам каждый день нужно приносить в жертву каплю собственной крови, вы ведь знаете, какой Эжен бледный и как он умеет при этом раскрасить свой текст живейшими красками — иссиня-черной, сверкающей, словно пума; красной, зернистой, будто смородина», — что ж, я бы не колебался; чтобы страница к концу каждого дня оказывалась вся исписана, я бы всегда, едва пробудившись, брал бы иголку и прокалывал себе пальцы.

Я бы хотел соткать вокруг тебя, когда тело твое охвачено текстом, целую сеть подобострастных забот — подвернуть тебе брюки, чтобы омыть твои ступни и щиколотки подогретой водой, в которой заварил стебельки гравилата, надавить лесных ягод, чтобы напоить тебя свежим соком, придерживая твою голову, касаясь твоего затылка рукою, овеять тебя воздухом из своих легких, промыть твои ушные раковины теплыми и умиротворяю-

щими ароматами, уничтожить вокруг тебя всякий шум ради душевного твоего покоя, оставить лишь нескольких насекомых, шелест которых тебя заворожит, околдует, расстелить перед тобой на тот случай, когда взгляд твой оторвется вдруг от бумаги, бесконечные полотна, над которыми я трудился ночами, изображая Африку, большие озера и диких зверей, парящих в облаках хищных птиц или красных фламинго, морской бриз, ветер, бурю, что вызваны сокрытыми от взора механами, выпущены на волю из бурдюков, в которых была собрана вся сила моего тела. Но прежде, до того, как примешься ты за работу, — дабы все к ней было готово, — надо проверить твои инструменты, ополоснуть тебе руки и почистить ногти, убрав из-под них лишнее, или же, наоборот, оставить под ногтями черноту, которая будет стекать по капельке на бумагу подобно чернилам, помыть тебе голову, размять мышцы у тебя на спине, сделав легкий массаж, чтобы сидеть тебе стало легче. На тебе будет белая рубашка без воротника, чуть раскрытая сверху. Ты будешь в длинных трусах, и я никогда не увижу твой член, и мне приятно будет представлять, что у тебя нет пола, что он неизвестен, что, может быть, под тканью скрывается щель.

Теперь я примусь читать твою книгу.

Ты — одно из моих любимых яств. Один из немногих, кто еще жив. Язык твой насыщает меня словами, чувственными смыслами.

Я пью эту извилистую речь, что проистекает из твоей головы, из бьющегося твоего сердца, из белого твоего живота, из твоего детства. И при этом слиянии, при этом соитии происходит странное: я не то чтобы все узнаю, — ведь не я это создал, — речь твоя свежа и ото всех обособлена, однако она сразу же становится мне крайне близка, еще до того, как она примется меня удивлять, соблазнять, — ее сок, вкус для меня жизненно важны, — возможно, что где-то внутри этот раздвоенный язык соединен, сплетен с языком моим.

Я сказал тебе, что мечтаю о братстве по перу — я мечтаю о некоем общем пространстве, может, разделенным стеной, а, может, когда двое сидят спиной к спине, повернувшись каждый к своему окну (ты — к деревне, я — к городу?), в двух смежных комнатах, освещаемых одним и тем же светом, с общими микробами, воздухом, когда эти двое делят лишь пищу и сон, после которых каждый занят своей работой, что могла бы в чем-то перекликаться с работой другого…

Но вот ты приезжаешь в Париж и звонишь мне, — тебе передали мое сообщение, — и я слышу твой голос в трубке, ты произносишь свое имя. Ты зайдешь через несколько часов, чтобы сделать снимки. И я, как сумасшедший, все у себя убираю и протираю, меняю постельное белье, иду в магазин, чтобы купить лилий, которые смогут сочетаться с оттенком твоей белой кожи, и пирожных,

названия которых смогут тебя совратить еще прежде, чем ты их попробуешь, — маракуйя, которую зовут «фруктом страсти», или манго слишком вульгарны, — я ищу что-нибудь простое, с кислинкой. Но, когда ровно в три часа ты звонишь в дверь и я открываю, наконец-то вижу тебя, все порывы мои вдруг улетучиваются от того, как холодно ты себя держишь. Я говорю с тобой, раскаиваясь и сокрушаясь, и даже не осмеливаюсь прочитать тебе этот текст, я могу передать его тебе лишь опосредованно, в напечатанном виде. Только, когда я начинаю снимать, ты соглашаешься подарить мне свою улыбку, находясь под защитой объектива, а я только из лихачества целую тебя в момент расставания, тогда я чувствую плоть, от меня ускользающую, ледяную, как у скрытной девочки или покойника.

(1982)

ПОСМЕРТНЫЙ РОМАН

В 19** году, когда я еще работал в архиве, случайно увидел в одном еженедельнике фотографию и затем прочел о некоем Жане Л., который начал публиковаться, когда ему исполнилось двадцать, и выпустил за последние семь лет пять небольших книжек в издательстве «Поль». Вскоре после выхода его пятой книги я написал ему письмо, очень длинное. Но он так и не ответил, в то время я не мог знать, читал ли он его, и вообще попало ли оно ему в руки, ведь я отправил письмо на его имя издателю, попросив передать адресату, однако конверт так и не нашли, когда копались в бумагах, запертых в трех нижних ящиках комода, где он хранил всю переписку, у подножья кровати. Письмо это потерялось. Ровно через неделю после того, как я отправил свое послание, я прочитал в газете заметку о том, что он покончил с собой — бросился с поезда, на котором ехал из Парижа в А., спустя некоторое время после остановки на вокзале в В., — сообщалось в рубрике происшествий. В тот же день его родители сделали все необходимое, чтобы тело перевезли на кладбище Поркероля, согласно

его воле в собственноручно написанном завещании. В последовавшие годы я много раз ходил на его могилу, над которой высился кипарис, рядом с могилой отца, утонувшего, когда он спасал сына. Отец и сын, — читал я на камне, — согласно пожеланию матери, были похоронены в одном гробу; хорошо зная по книгам, каким человеком был этот Жан Л., я всякий раз с радостью думал, что такое соседство могло бы сделать его счастливым. Книги его продавались медленно, их более не переиздавали, и скоро имя его забылось. Признаюсь, я бы тоже вскоре о нем забыл, поскольку не мог беспрестанно перечитывать его книги, на кладбище Поркероля приходил все реже и реже, да и жизнь приняла иной оборот, с возрастом у меня появились другие привязанности, другие сердечные склонности, но как-то раз, снова случайно, я прочитал в одном научном журнале статью, разбередившую все былое. И в этом месте моего вступления я прошу читателя поверить мне на слово.

В Голландии, при попытке создания безъядерного пространства в некоей местности, что уже была облучена во время эксперимента, обнаружились вдруг свисающие, как кисти с деревьев, повсюду разбросанные, рассеянные по земле бессчетные слова и обрывки фраз. Эти скопления, по сути невероятно банальные, становились видимы лишь при взрыве магния, их можно было запечатлеть лишь на светочувствительной пленке

во время вспышки, когда химические частицы смешивались друг с другом. На снимках, сделанных исследователями с различными интервалами, видно, что фразы эти, словно бы носимые ветром, вовсе не неподвижны, раз от раза они оказывались в новых местах, некоторые исчезали, другие соединялись, цепляясь к только появляющимся словам, образуя своего рода мозаику из букв в беспрестанном их преобразовании. Однако голландские ученые, не слишком заинтересовавшись таким темным литературным феноменом, отчитавшись, на том его и забросили.

Почти десять лет тайных упорных изысканий позволяют мне теперь утверждать следующее со всей уверенностью: будь то сидящий в поезде путешественник, машинист, или даже человек, едущий на машине, или путник, идущий по лесу или саду, любое живое существо, движущееся само по себе или при помощи механизма (движение, как явление чисто физическое, мысль пробуждает и ускоряет) провоцирует различного рода смещения потока слов, что к нему как бы притягиваются, формируя различные смыслы, в той или иной части пространства; и в тот самый момент, когда зрение человека, сообразуясь с мыслью, словно бы затуманивается, теряется, исчезает, останавливаясь на какой-то детали, будь то листва на деревьях, поворот тропинки или же горизонт, фраза — а это может быть всего лишь имя, действующее наподобие произносимого

в сердцах заклинания, — впечатывается в ту самую часть пейзажа, въедается в дорожную пыль, качающуюся от ветра ветку, заходящее солнце.

Голландские исследователи показали: эти фразы, представляющие собой как бы первичную форму литературы, не только физически никуда не исчезли, — чтобы проявить их, достаточно лишь обеспечить необходимые ионные связи, — а даже более, они живут своей жизнью, перемещаются, продвигаются вперед, отступают, уклоняются друг от друга или соединяются, хорошеют или дурнеют, словно под терпеливой рукой писателя.

И здесь я снова, еще сильнее, прошу читателя поверить мне на слово: я — человек очень рассудительный, здравомыслящий (правда, сумасшедшие тоже говорят, что они на редкость благоразумны), без каких-либо нелепых причуд, и в том, что я собираюсь теперь поведать, следует видеть не просто какую-то романтическую вязь, но довольно значимое послание о творящемся по ту сторону бытия.

Фразы, брошенные живыми по их небрежности, сказанные в мрачные дни отчаяния, когда слова не могли нигде закрепиться, служат в действительности пищей умершим, которые настоящей еды не вкушают, а проводят вечность — как в аду, так и в раю, — отыскивая самые редкие изречения, — так пчелы собирают нектар, чтобы отнести в улей, — или же собирая предложения самые что ни на есть ничтожные, — души эти

скитаются, не смыкая глаз, кружат над повисшими кистями, извлекая из них лишь самую сладость. Слова — это пища умерших и — в то же самое время — их бесконечная эпитафия, они плетут из них свои вирши, сочиняют романы, соединяя фразы медленно, терпеливо, бессчетное число раз повторяя свой путь туда и обратно, и порой слова выпадают из их переполненных мешков и карманов, сами же они устремляются за границы отведенного мира, чтобы составить смесь самую причудливую, и каждая точка на горизонте, каждый закат валятся в нагромождение яств, от которых они теряют свой разум (как мы помним, это мысли ныне живущих или же тех, что когда-то жили). Души трудолюбивые стараются очистить пейзаж от фраз безучастных и непристойных, души преданные, истовые, неустанно трудятся над тем, чтобы восстановить самые первые черновики какого-нибудь писателя, бормотавшего что-то себе под нос на прогулке. Недоступные нам, в атмосфере парят восхитительные шедевры, к которым беспрестанно обращаются самые внимательные из почивших. Души мучающиеся, неуверенные в себе, за всю свою жизнь ничего не свершившие, пятясь, возвращаются к истокам собственных странствий и бытия во времени и пространстве, пытаясь отыскать и как-то восстановить суть минувших лет молодости. Души подлые, омерзительные, только и делают, что скитаются, кочуя с места на место, дабы в отчаянии, согласно

законам, стирать подчистую своими слезами, шершавыми пальцами, сморщенными губами все гнусное и дрянное, чем они жили когда-то. У животных занятия совершенно иные (быть может, какой-нибудь зоолог однажды о том расскажет), и существуют еще души влюбленные, весь труд которых всегда будет состоять лишь в том, чтобы воссоздать единственное слово — как правило, это имя или сказанная когда-то шепотом ласка, — собрать нечто огромное из миллиардов потрепанных слов, разрозненных, брошенных душами подневольными в помойную яму. Так в одной стране души-пилигримы устремляются на попутном ветре к весьма странному монументу, представляющему собой всего одну гигантскую букву «Т»*, для установки которой потребовалось разъять на части множество гениальных романов, слова которых скрепили невероятную эту конструкцию.

Но вернемся к Жану Л., с коего начали. Причины его самоубийства так и остались до конца невыясненными; стоит также сказать, что в нескольких интервью, опубликованных незадолго до смерти, он — который романов никогда не писал, но в то же время постоянно что-нибудь сочинял, как множество других, о романе мечтая, — объявил, будто начал работать над чем-то, что как раз могло бы превратиться в роман. Однако в бу-

---

* Здесь и далее Т. — Тьери Джуно, возлюбленный Эрве Гибера.

магах его можно отыскать лишь разрозненные таинственные обрывки, никак в единый набросок не складывающиеся.

Я подумал, что, занявшись поисками, которые ведут, собирая словесный нектар, души умерших, и «выявляя» рентгенологическим способом вдоль последних его маршрутов, в особенности того, по которому он направлялся в день смерти, — иначе говоря, путешествуя туда и обратно вдоль железнодорожного пути Париж — В., — как можно больше его собственных мыслей, высвобождая их, — словно драгоценные камни из грунта, — из россыпей бестолковых никчемных мыслей ехавших с ним по той же дороге, я мог бы отыскать одновременно сведения о причинах его трагической гибели и, быть может, восстановить большую часть романа, который он хотел написать. Обстоятельства самоубийства и тема романа, так и оставшегося из-за смерти невоплощенным, теснейшим образом меж собой связаны.

Прошу читателя ненадолго представить меня во время многочисленных походов, когда я, подобно визионеру или ловцу бабочек, пробирался вдоль злосчастных рельсов, метр за метром устраивая натриевые вспышки, чтобы обнаружить в осветившемся на миг ночном пейзаже скопления мыслей, распутать их, сфотографировать, затем увеличить, узнав обороты его речи (перед смертью мысли этого человека были облечены в литературную форму, они стремились к той самой

мечте о романе), и потом отнести снимки в тихую библиотеку, где я тогда работал и куда возвращался каждую ночь, ибо она оказалось единственным достаточно просторным вместилищем, чтобы принять груды моей добычи, из которой заново составлялись длинные ленты фраз, беспрестанно обрывающихся, восстанавливаемых и опять замолкающих.

У железнодорожной насыпи в шестидесяти трех километрах от вокзала В. я обнаружил совершенно особое скопление мыслей, весьма жизнестойких, концентрированных и оставшихся в неприкосновенности, которые можно найти здесь, в самом конце романа. У меня есть все основания полагать, что это были последние мысли умиравшего человека, ибо фразы, хлынувшие во время судорог, когда сердце выталкивало кровь из порванных вен, — словно алые цветы, что кидают на проносящийся мимо кортеж, — эти фразы ограничивали собой пустое пространство, в котором трава не росла, это было похоже на извилистый силуэт убитого, очерченный на полу полицейским с мелом в руке, место, словно прокаленное, с плотно прибитой землей, поскольку тело, на которое действовала движущая сила поезда, — я консультировался у специалистов, — должно было при ударе сильно увеличиться в своем весе. И — наоборот — я не смог отыскать ни одного пучка фраз у могилы Жана Л. на Поркероле, во всем похожей на склепы, из насельников

которых растут скорбные посмертные стебли. Или в этой гробнице покоится вместо Л. кто-то другой, — что маловероятно, — или же он свел счеты с жизнью, чтобы предаться иным занятиям (фразы, обнаруженные мной среди самых разных пейзажей, позволяют думать, что некоторые усопшие питают особую склонность к живописи, но мне было бы любопытно узнать, к каким сюжетам и инструментам они прибегают, быть может, однажды мы это как-нибудь обнаружим), или же он счел, что роман его подошел к завершению вместе с поездкой и концом книги, равно как и пунктом назначения, куда он уже прибыл, стала его собственная смерть.

В этой книге найдутся и непристойности, ведь на самом деле она так и не была написана, существовала лишь в мыслях человека, который вот-вот погибнет, в ней есть пустоты, провалы во времени, ни к чему не ведущие отсылки, похожие на остановки поезда-призрака, и приложения из сплошных пробелов. Есть в ней повторы, поскольку Жан Л. в тот экстремальный момент жизни был одержим страстями, и некоторая размытость сюжета, поскольку в момент смерти так и оставалось для него неясным, какую в точности форму он хотел придать своему роману.

От себя я не добавил ни единого слова, я лишь восстанавливал то, что удалось отыскать. Быть может, я во всем ошибался и со-

бранный мною текст есть полное заблуждение, и сам Л. от него бы отрекся? У читателя всегда будет возможность составить свою версию на основе представленного материала, так что вместе с этой книгой вручаю ему воображаемые ножницы…

(1982)

ВЛЮБЛЕННЫЙ СЦЕНАРИСТ

Из этого могла бы получиться история, и участники ее тогда походили бы на героев неудавшегося рассказа или даже романа. Их могли звать как угодно — влюбленный и желанный, младший и старший, маленький и большой, каланча и кубышка, молчун и хитрюга, — в самом деле, неважно. История бы все время лишь начиналась, а развязка откладывалась — именно поэтому роман и нельзя было написать. Признание покончило бы с нежными чувствами.

В одном из ложных зачинов могла бы идти речь о первых солнечных днях в провинциальном приморском городе. Младший влюблен в девушку, она — актриса, дышит сценой и влюблена в театральную знаменитость. В руках у нее свернутая афиша, в следующий миг она ее разворачивает, и на стене появляются контуры белой крепости и темно-синего озера, из которого торчат башенки, — может даже, одна башенка, — воспоминание привирает. Актриса говорит: «Это “Парижская резня”*, спектакль идет в Вил-

* Пьеса Кристофера Марло.

лербане, мы не успеем туда съездить, потому что играют всего несколько дней, видишь здесь эти мостки, актеры переходят из одной башни в другую, вся сцена затоплена водой, а в конце все герои с перерезанным горлом в нее падают и барахтаются в крови, этот тип просто помешанный». Она впервые произносит вслух его имя. Она не видела ни одной его постановки, всего лишь читала статьи в газетах, но все же отправила ему свою фотографию, а тот ей — свою.

Во втором обманчивом зачине могло бы рассказываться о своего рода побеге. Однажды в субботу он, как обычно, говорит родителям, что идет в лицей, но на обед домой, наверное, не вернется. Затем отправляется к шоссе и на попутной машине едет в Париж. Вечером, в театре «Ля Гете Лирик» он смотрит пьесу сумасшедшего автора. «Спор»*. И это производит на него просто невероятное впечатление. Как же это описать? Ему рассказали сказку, он видел лес, одна ночь сменяла другую, кажется, пред ним предстала вся его жизнь; душа и сердце, люди вокруг и он сам — все было как на ладони. Тут есть что-то необъяснимое — какая-то тайна или же сбой восприятия, что-то невыразимое, — никто не может сказать, почему, раз увидев, человек так привязывается к одному-единственному произведению искусства, почему оно становится вдруг так ему дорого, что потом

* Пьеса Пьера де Мариво.

всю жизнь он хранит ему верность, словно какому-то миражу, видению, он скорее отдаст руку на отсечение, нежели откажется от своих чувств, особенно, если произведение это как-то касается мира взрослых, разве эта тайна — не синоним мужества? Мужества быть собой, выражать собственные мысли и совершать поступки, изобретать и раскрывать секреты?

Последний зачин — ведь текст этот словно бесконечность, пучина, и сам себя разрушает, — развивается быстро: младший сидит позади актера, мчащего на мотоцикле сквозь серость и моросящий дождь. Последний день съемок: заводской двор — тусклые оттенки серого, охры, — монтажные кадры с лающими собаками, которых держит на поводке дрессировщик, старый автомобиль, камера. Картинки мелькают. Крупный план. Взгляд. Описание взгляда занимает множество страниц.

Актер влюблен. Одни только истории о любви. Прыткий юнец с волчьим нравом, — шапка на нем, как у Дэви Крокетта, — открывает шампанское, срезая горлышко саблей, как его польский прадед; прыгает в лифте, чтоб тот сорвался; однажды ночью отправляется на машине к лесному озеру, освещаемому луной, — попадает в картинку с афиши. То он говорит, что рос сиротой, то заявляет, де стал актером, потому что видел, как мать плакала, когда умер Жерар Филип, вечно одно и то же. Он останавливается у высокой

стены, окружающей некое здание — как раз сиротский приют, — говорит: «Я рос не здесь, а в пансионе поблизости, и мы перестреливались, бегали на переменах кидать в них окурки, и один там все время стоял подальше от остальных...» Актер говорит, что не хочет больше работать в театре с тем режиссером, потому что он вечно ставит его куда-нибудь в темень, поэтому на улице его никто не узнает, а он занялся этой профессией как раз, чтобы быть у всех на виду. Позже, хлебнув лишнего, он заявляется к режиссеру и колотит как сумасшедший в дверь, выкрикивая его фамилию.

Каланча тоже влюблен. Он живет на последнем этаже в бывшей квартире прислуги, комната длинная, словно коридор, в конце которого есть решетка. Он решает пригласить режиссера на ужин — с белыми лилиями, устрицами и камамбером, от чего и сытый проголодается. Включает проигрыватель с древними пластинками на 78 оборотов в минуту. Потом спрашивает: «Можно вас обнять?»

Однажды ночью — все истории происходят ночью — он напился снотворного и уснул в своей тесной детской кровати, надев полинявшую розовую рубашку, которую носил еще в лицее на занятиях по ненавистной гимнастике. Несколькими часами ранее другой ответил ему: «Не могу больше вас видеть» или даже: «Не хочу больше вас видеть!», — сказал и откинулся на заднем сиденье, нацепив черные

очки. Он во всю прыть мчится по ступенькам станции метро «Опера» вниз, рыдает, орет, не узнавая собственного голоса, поднимающегося откуда-то из живота, ему наплевать, что все на него глазеют. Волею случая у него в этот момент в руках стопка пластинок на 45 оборотов, все хиты минувшего лета. В ожидании поезда он садится на скамейку, уже не кричит, но по-прежнему весь в слезах. Рядом с ним сидит темнокожий, он чувствует, что человек этот рядом, что он смотрит на него с нежностью, берет у него пластинки и, разглядывая их, принимается напевать песню за песней, чтобы как-то его утешить. Сквозь сон он слышит стук в дверь. Невозможно же, чтобы тот вернулся. Он встает и, шатаясь, не веря, открывает дверь: тот стоит перед ним, промокший под дождем до нитки, он без сознания валится в его объятия. Тот относит его в детскую кровать, и они вместе невинно в ней засыпают.

Он по секрету рассказывает ему историю о темнокожем с пластинками. Секрет этот оборачивается сценой в чужом фильме. Тот его выдал. Остальные секреты окажутся однажды в газетных статьях. Вместе они принимаются сочинять историю, обсуждая, что значит предательство. И что значит любовь: работа превращается словно в комнату для свиданий, в котел, куда ту и швыряют.

(1982)

П. ПОСВЯЩЕНИЕ НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Я испытывал к этому человеку двоякие чувства: я мог бы сказать, что люблю его, но при этом, когда мы наконец встречались, мне хотелось его придушить.

Я грезил, что поселился в его квартире, — мое видение на тот момент не казалось еще губительным, — имущество усопшего я не присвоил, он по своей воле мне все это отдал, из-за усталости, по знакомству и дружбе, — ему нравилась новая мебель, и он уступил мне старое потертое бархатное канапе, разные глубокие кресла, смонтированную из золотой проволоки модель звездной системы, принадлежавший ему в детстве кукольный театр, порченые дырявые шторы, лупы в темных деревянных оправах, — все самые дорогие предметы, — набитое соломой чучело совы и украшенную восковым жемчугом корону невесты, подушечку с покоящимся на ней погребальным колоколом, — он все это завещал мне, ни о чем не жалея, и теперь я оказался один в слишком большой квартире, сидел в одном из глубоких кресел, от которых пахло розами и — в то же самое вре-

мя — затхлостью, все это принадлежало мне, но я не знал, что с этим делать, каждый шаг, каждое движение меня пугали, я был словно кощунствующий незваный гость, который сорвал печати. Я столько раз ходил по этой квартире, будучи не другом, не любовником, а просто коллегой, ступающим легко, почти скользя по длинным лакированным дощечкам пола, похожего на накренившуюся палубу теплохода, терпящего крушение, мне чудилось, что спустя годы я могу пройти здесь везде вслепую, с завязанными глазами, что теперь я даже на расстоянии способен перечислить все безделушки и картины, нарисованные его отцом, — огненные шевелюры и танцующие джигу скелеты, тощих подростков, сладострастных курильщиц, гофмановских страшилищ, — все, вплоть до вечной пыли, окрасившей обрезы некоторых книг, и неиспользуемых вещиц на полках в ванной, фаянсовых кувшина и тазика, которые я вдруг вышвырнул из окна, — они разлетелись там вдребезги, угодив в мусорный контейнер, набитый хламом компании по уборке, — вместо того, чтобы лобызать их и поклоняться в молчании, я бросал их в огонь, сон мой развеялся.

С папкой в руках — кажется, год от года она становилась все толще, — я спешил подняться по извивистой лестнице, широкие белые ступени были похожи на пластинки медленно раскрывающегося гигантского веера, — я летел, пропуская по две ступени

(а в снах это число множилось еще на двое) и выделывая коленца, полируя перила, словно желая удостовериться, что знаю весь путь наизусть и не могу ошибиться даже в ненастные дни, когда на лестнице оказывалось совсем темно и она превращалась в беговую дорожку атлета. На третий этаж я поднимался, уже запыхавшись, и стоял возле двери, чтобы отдышаться и предстать перед ним с видом спокойным и безразличным, будто у клерка, по возможности восстановив силы, но случалось и так, что по вечерам меня охватывал страшный гнев, меня распирало от ярости, которая тогда уже появилась, и я, наоборот, решал прийти к нему, когда сердце выскакивало из груди, я задыхался и несколько минут не мог произнести ни единого слова, как будто желая его напугать. На большой лакированной двери темно-синего цвета не было ни таблички, ни подписи, только царапины, оставленные взломщиками, из-за которых пришлось менять замки, чаще всего изнутри не доносилось ни звука (никаких подписей не было, и я все же почти ревновал, видя нечитаемое граффити, нанесенное отмычкой или ножом, когда кого-то, вероятно застали врасплох за делом); глазок на двери не закрывался и был похож на маленькую светящуюся точку; я ждал того момента, когда послышатся уверенные шаги, всегда после звонка медлившие, сопровождавшиеся порой шорохами, когда он закуривал сигарету или поджигал вновь потухшую сигариллу, и тень не-

надолго затмит маленький, едва мерцающий посреди двери просвет. Тогда успокоившееся было сердце вновь начинало стучать, и я торопился переложить папку в другую руку, дабы удостовериться, что ладонь во время приветствия будет сухая. А еще я часто, до того, как он успеет подойти к глазку, способному меня выдать, старался укрыть лоб и ерошил кудри, которые ветер успел откинуть назад: я шел к нему все время с опущенной головой. Наконец он открывал дверь, и каждый раз взгляд его, — то в сторону, то прямо на меня, — вплоть до последних встреч, ранил мне сердце. Он это замечал, и с каждым разом все пристальнее следил за тем, как действует на меня этот порочный взгляд, наблюдал за моим волнением. Я протягивал ему руку, которую перед тем вытер о брюки, и он, будучи ниже ростом, прикладывался губами к моей щеке. Я быстро проходил мимо, чтобы поскорее уже попасть в комнату, слышал за спиной его голос и не оборачивался, страшно боясь, не найдет ли он что-то смешное в моем обличье. Лишь в его присутствии я мог испытывать такой жгучий стыд из-за разошедшейся на брюках ширинки, поношенного воротника рубашки, незамеченного пятна и даже показавшегося из-под манжета нового браслета часов, блеск которого, как я подозревал, он мог счесть вульгарным. Сам он одет был, как всегда, довольно скверно, или, можно сказать, безалаберно, в вещи блеклые, как у всех, но при этом частенько

позволял себе отпускать замечания по поводу моего внешнего вида, словно чтобы уязвить меня еще больше. Он прекрасно понимал, как мне может быть перед ним физически некомфортно, и забавлялся с задорной усмешкой, больше говорившей о его пристальном внимании, чем о грубости. Так он мог мне сказать, глянув на брюки: «О, как раз того фасона, что мне совершенно не нравится, никогда бы не надел такие!», — или же, узнав мой пиджак: «А, ты уже второй год подряд носишь этот пиджак, мог бы купить себе новый!», — или, брезгливо подцепив пальцами мой галстук: «Жуть какая! У тебя что, траур? Совсем с ума сошел, напялить такое!»

Он был суеверен. В дни, обозначенные числами, которые он считал несчастливыми, ни с кем не встречался и из дома не выходил. И были, наоборот, дни особенные, когда он принимался за очередную работу, соглашался выполнить заказ или подписать контракт. Родился он в день поминовения усопших.

Долгое время я очень хотел получить от него какой-нибудь подарок — на Рождество или на день рождения. Любая подаренная им вещь обрела бы для меня особую ценность, но никаких подарков не было. Я годами ждал этого, зная: если он заподозрит с моей стороны что-то подобное, то обязательно сочтет мое желание претенциозным и низким. В один из дней поминовения на второй или третий год нашего знакомства, — уже

в точности не припомню, — чтобы выказать мою собственную мечту, но, так сказать, в обратном направлении, я решил выбрать в маленькой квартирке, где тогда жил, какую-нибудь из немногочисленных, особо значимых для меня вещей и принести ему, не упаковывая ни в пакет, ни в оберточную бумагу, ясно намекая, откуда она, этим предметом оказалась фарфоровая бисквитная статуэтка в виде двух голеньких ангелов, везущих по снегу сани, полные лепестков. Он потоптался, потом отнес статуэтку в спальню, поставив неподалеку от чучела совы в полумраке, куда я мог лишь беззастенчиво глянуть втайне от ее владельца, едва успев различить в углу пару ботинок с оставленными в них носками да брошенное на стул полотенце. О его интимной жизни я знать не хотел, ни о чем его не расспрашивал и, когда однажды понял, что кто-то побывал в темной спальне и вполне мог оказаться там снова, когда в разговоре, испытывая явное наслаждение от возможности рассказать о своих чувствах кому-то третьему, он собирался раскрыть мне заветное имя, я одним усилием воли ненадолго оглох, просто приняв объект его страсти, как кого-то другого, обозначенного только лишь буквой. В дальнейших разговорах я называл этого человека «Икс».

Долгое время мы называли друг друга на «вы» и, когда он лег на меня, я продолжал говорить ему «вы». Потом он больше такого не делал, никогда, и годы спустя мы по-

прежнему звали друг друга на «вы». Однажды, выпив вина или повеселев от удачной мысли, касавшейся дела, он мне сказал: «Мы так давно обращаемся друг к другу на “вы”, быть может, пора уже перейти на “ты”?»

Речь о подарке никогда больше не заходила, напрасно я ждал, не произнося об этом ни слова. Однако я лгу, когда говорю, что он больше на меня не ложился. Каждый год — и только раз, словно на день рождения, — непредсказуемо, когда он сам так решал, хватало слова, и даже взгляда, чтобы я вновь отдался ему, сразу раздевшись и улегшись на пол, — хоть теплый, хоть ледяной, — чтобы колени мои сложились, чтобы руки мои обвились вкруг него. Никогда мне не удавалось удержать его дольше того времени, что было отведено на утехи, он снова спасался бегством, и в конце концов я начал воспринимать эти ежегодные объятия как своего рода экзамены, проверку зрения и готовности, и они внушали мне отвращение, становясь со временем все бесстрастнее и машинальнее, превращаясь в жуткое влажное равнодушие. За год до того события, о котором хочу рассказать, я все чаще артачился, оставляя его на самом дне жалких восторгов.

Мы встречались только в его квартире, и я старался прийти ровно в назначенный час. Однако, в самом начале, дома его никогда не было, он или опаздывал, потому что пришел не вовремя на предыдущую встречу, или же забывал про нашу, или же

попросту делал вид, будто у него вылетело из памяти; я в те дни, исполнив все ритуальные жесты, — переложив папку в левую руку, вытерев правую о свои брюки, взъерошив в последний момент на лбу волосы, — позвонив в дверь, должен был признать очевидное: его нет дома. Или, быть может, он там, за дверью, но занят или в квартире

есть кто-то еще, я оборачивался, желая убедиться, что никто не застигнет меня врасплох, и прикладывался к дверному глазку, различая лишь светящийся холод, и, наконец, чувствовал облегчение, когда раздавался громкий телефонный звонок и было ясно, что трубку никто не берет. Я садился на ступеньки, даже когда было очень холодно, и принимался ждать — четверть часа, полчаса, час, — я не двигался, не заботясь даже о том, чтобы достать книгу, лежавшую у меня в папке, я лишь поносил его на чем свет стоит, словно предугадывая те проклятия, которые еще обрушу позже на его голову, ругал, что он меня не предупредил, не оставил на двери никакой записки (при этом я знал, что бережно сохранил бы самый малый, самый обычный клочок бумаги), я продолжал сидеть на ступенях лестницы, представляя, что сейчас встану, привяжу к кольцу, торчащему на потолке лестничной клетки, или к завиткам перил какую-нибудь веревку и спрыгну в пролет, повесившись на размотавшемся тросе, я прямо видел, как болтается там мое тело, видел,

как он поспешно приходит, снимает черные очки, закуривает, я смаковал про себя момент, когда он натыкается на висящие в воздухе ноги и поднимает взгляд к синеющему лицу. Но вот он появлялся на самом деле, притворяясь, что до крайности удивлен, бросал мне на автомате свои извинения и открывал дверь. Словно пытаясь соблюсти хоть какие приличия перед самим собой, перед собой сохраняя благопристойность, в которой он мне отказывал, я сообщал, что жду не так долго, я лгал, и он не выглядел глупо, я замерзал до костей, и он не предлагал мне выпить чего-то горячего, мы сразу направлялись к его письменному столу. Так проходили наши редкие встречи в течение первых двух лет, однако на третий год — это была словно медленная обманчивая победа, причинявшая мне такую же боль, какая бывает при разлучении с самым дорогим, сокровенным, при отречении от невероятного чувства, которое все еще живо, — я больше его не ждал, не сидел на ледяной лестнице, а спускался в кафе, как он мне и советовал. Там он меня отыскивал, извинялся, и мы вместе выпивали по чашке кофе, он шутил, мы говорили о том о сем, о вещах обычных, которые прежде обсуждать меж собой не решались. На четвертый год — правда, быть может, я слишком спешу в своей хронологии, — он оставил в дверной щели коротенькую записку, где первая буква моего имени соседствовала с его собственными

инициалами. Я развернул ее с наслаждением, даже с надеждой, что сейчас дома его не окажется, дабы записка, в которой почти не читалось никаких чувств, была на своем месте оправданно. Я сунул ее в карман и спустился в кафе. На пятый год телефонный звонок рано утром, как правило, предупреждал меня, что встреча переносится на более ранний или же поздний срок. Однажды, когда шел уже шестой год нашего общения, будучи уверенным, что он у себя, и не видя торчащего из щели листка бумаги, я почти расстроился, что приходится звонить второй раз впустую и поспешил обратно, чтобы не ждать и пяти минут. Опасаясь столкнуться с ним прямо на улице, я ринулся к такси, чтобы вернуться домой. У двери я оставил ему коротенькую записку, которую он чуть позже назвал по телефону суровой и беспощадной; я как раз поднимался по лестнице, когда услышал звонки, уже зная, что это он. Отвечал я холодно, потом сел в другое такси и вновь поехал на встречу с ним. Вел он себя до крайности дружелюбно. Во все последующие разы я был уверен, что он будет на месте, не опоздав ни на минуту. Король джунглей был укрощен, или, быть может, это лев подчинил своего укротителя, так или иначе, но во время дрессировки оба нападали, пытаясь побороть друг друга, и визиты случались все реже и реже. На седьмой год начался разрыв, происходил он как будто приступами, это было похоже на штурм,

в котором ни нападающий, ни крепость главу преклонять не хотели, боясь свернуть себе шею.

В то время его квартира, позже проданная под офисы, выглядела следующим образом: сразу за дверью был широкий коридор или, скорее, холл, слева от него размещалась кухня, справа — спальня, дверь в которую все время стояла закрытой или только слегка приоткрытой, в центре находилась дверь в три смежные комнаты, окна которых смотрели на улицу, самой первой была гостиная, где он принимал посетителей, в то же время это было пространство для чтения, как бы противопоставленное настоящему его кабинету, располагавшемуся по соседству и обставленному особенно — помимо монументальных книжных шкафов из грубого дерева, занимавших всю дальнюю стену, находились здесь подставки из простых досок, накрытые старыми, потрепанными шторами, на которых высились в беспорядке стопки папок и книг, касающихся текущей его работы, почти в самом центре стоял большой стол, за которым он обычно трудился, вокруг рядами или чуть в стороне размещались подставки и столики поменьше. Глубокое кресло резного дерева стояло возле окна, как и шаткий убогий стул, на котором последовательно сменяли друг друга четверо или пятеро его коллег, усаживавшихся против света по особому расписанию. На нем же сидел и я в течение шести лет, стараясь воплотить в жизнь проект неосуще-

ствимый, который мы представляли в двенадцати разных версиях до того, как окончательно это дело забросить. Часто случалось так, что встреча затягивалась и наступала пора уже другого коллеги, тогда двое сталкивались, смущенно и боязливо пожимали друг другу руки в его присутствии, постепенно начиная гневаться, что стул занят, или, наоборот, что его надо освобождать.

В этом рабочем кабинете, где порой он включал для меня музыку или давал полистать фотоальбом, пока тянутся бесконечные телефонные разговоры, была еще одна дверь, ведущая в пустующую в глубине квартиры библиотеку, превратившуюся скорее в склад, он все пытался переоборудовать ее в гостевую спальню, которая, несмотря на застеленную кровать, вскоре могла бы стать, как в фильме ужасов, той заколоченной спальней, где жил когда-то дорогой и любимый почивший; с другой стороны из кабинета можно было попасть в его собственную спальню, и порою случалось, что он во время работы выключал телефон в одной или в обеих комнатах или, наоборот, переносил телефон из кабинета в спальню, чтобы, закрыв дверь, поговорить с кем-то в более интимной обстановке, а я пытался уловить каждое сказанное им слово. Пройдя по спальне, — однажды я так и сделал с колотящимся сердцем, как вор, когда он спустился по лестнице проводить предыдущего посетителя (что означала подобная предупредительность, по отношению

ко мне так никогда и не проявившаяся?), — можно было оказаться в большой прихожей, долгое время совсем пустой, пока он не решился поставить там стол, стулья и купить соответствующую посуду.

В один из рабочих дней — ведь я уже говорил (и здесь может показаться, что рассказ посвящен лишь медленно развивающейся теме ревности), что вне работы у нас больше не было никаких отношений, — он извинился, что сегодня какой-то вялый, совсем не в форме. Слишком много выпил, сказал он мне, накануне вечером, это происходило как раз после дня поминовения, я решил не говорить, что помню о его дне рождения, и, когда я как раз увидел новые стол и стулья недалеко от входа, он продолжил: «Да, отмечали мой день рождения. Первый раз в этой квартире. Пригласил друзей. Как же удобно, когда можно устроить ужин в собственном доме!» Думаю, не нужно описывать, какое впечатление произвели на меня эти слова.

В самом деле, он не демонстрировал никаких дружественных жестов, кроме того лишь, что посылал открытки из своих поездок в Будапешт или Рио-де-Жанейро, неожиданно щедро одаривая расхожими фразами, которые в привычной пустыне становились настоящим бальзамом.

Каждый раз, когда у меня выходила книга — одна из тех, что я, быть может, писал и публиковал лишь ради него, не столько, чтобы доказать, что я вполне справляюсь

один, сколько из опасения, как бы он однажды меня не бросил с затеянной нами работой, которой я дорожил больше всего, поскольку она связывала меня с ним, как бы не отдал ее кому-то другому, человеку известному и всеми признанному, — он ограничивался благодарностью в двух-трех словах, сказанных по телефону, и это ему ничего не стоило и не оставляло никакого особого впечатления. И я прилагал все усилия, сочиняя книги, чтобы меня хоть немного узнали, признали и однажды мое имя могло появиться рядом с его именем на равных правах на афише, в газете, и это была бы тогда словно наша тайная свадьба.

В течение шести лет я был в его распоряжении, поставил его требования прежде всего остального, прежде моей собственной работы, которую вначале я выполнял только, чтобы заполнить пустоту, возникавшую, когда его не было или он занимался чем-то другим, словно бы предавая наш общий труд, а мне надо было все это претерпеть. Я ждал его. Он мог пропасть на полгода, а потом вдруг однажды днем или даже ночью вернуться к начатому и потребовать у меня десятки страниц, на которых при мне принимался подчеркивать, вычеркивать и переписывать, как будто желая присвоить уже сделанное мною. Он мог разбудить меня в три утра, позвонив из гостиницы в чужой стороне, где оставался целыми месяцами из-за работы, и начать диктовать мне свои исправления,

состоявшие часто в том, чтобы просто переставить запятые, и мне следовало заняться всем этим прямо на следующий день, вносить изменения в новую версию, которая была, наверное, уже шестой, и которую он все еще не желал никому показывать, и, хотя в течение четырех лет я не получил даже сантима, это значило, что надо перепечатать полностью почти сотню страниц, предварительно подкупив секретаршу и сидя потом по будням ночами или же воскресными вечерами в единственном бюро, куда я имел возможность попасть и где на машинках был именно тот шрифт, что ему нравился, да еще оплатить ксерокопии и отправить ему новую рукопись экстренной почтой в ожидании следующих исправлений. И в течение шести лет я был в его распоряжении, я ждал — если подобные слова могут иметь отношение к реальности, — с распахнутыми душой и сердцем, чтобы он пришел взять пробу, забрать десятину, сделать пункцию глубинной сути моей, собрав пенки, собрав кристаллики соли, оставшиеся от испарившейся влаги, сняв сливки, в которые перешли все ценные молочные вещества (а молоком было все, что писал я сам по себе, оно должно было вылиться на страницы пяти или шести книг, и позже, задним числом я вынужден был признать, что вначале столь мало значившие для меня тексты, пронизанные холодом запустения и беспомощности, оказались в действительности самыми ценными). А в ответ — никакого вознагра-

дения. Я не принадлежал — и был слишком тщеславен, чтобы сожалеть о подобном, — к тем избранным, что могли собраться за новым столом на его дне рождения. Чаще всего он старался не упоминать меня в интервью, когда говорил о нашей работе.

Тем не менее, дабы смягчить горечь всех этих нареканий, мне следует вспомнить о негласном контракте, который он предложил мне в первые дни работы и который я с радостью принял: я не должен был становиться литературным рабом, как можно истолковать, исходя из вышеизложенного, отнюдь, мы должны были трудиться сообща, пользуясь абсолютной свободой, без какой-либо оплаты, дабы иметь возможность вести работу к задуманной цели без постороннего вмешательства и ограничений, связанных со сроками и деньгами. Это было возможно, поскольку нам обоим — каждому на свой лад — работа эта давала жить. Но через два года после молчаливого пакта он решил, что может его нарушить.

(1982)

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

На обследовании врач изучал глазное дно, направив на меня луч яркого света, затем, используя небольшие приспособления, стал провоцировать по всему телу мышечные спазмы и судороги, ущипнул меня за нижнюю губу и спросил: «Головокружения ведь у вас случаются?»

1. Я провел ночь с Т. Мы встали, — я душ уже принял, — оделись и спустились позавтракать «У мадам Одиль», потом вернулись домой, и Т. разделся, чтобы в свою очередь отправиться в душ. Внезапно зазвонил телефон, и я оставил Т. на кровати, чтобы поговорить с матерью в соседней комнате, в кабинете. Голос у матери был веселый, она несколько дней гостила у своей сестры, мы поговорили о том, что погода стоит скверная. И вот я вешаю трубку и возвращаюсь в спальню, но Т. там нет. Я иду в ванную, дверь в которую плотно закрыта. Т., наверное, там. Нет, в ванной пусто. Я возвращаюсь в кабинет, там его тоже нет. Зову его, он не отвечает. Думаю, что он спрятался, и страх все растет, пока я напрасно заглядываю за каждую дверь.

На балконе он быть не может, выйти из квартиры тоже не мог. Никаких звуков я не слышал, и в любом случае заметил бы его силуэт, если бы он хотел притаиться за занавеской. Я перемещаюсь из комнаты в комнату и начинаю думать, что все это время он a contrario ходит за мной, прячась сзади. Я начинаю его умолять; разумеется, он прекрасно меня знает, чтобы понять, как сильно сейчас я напуган. Я ведь хожу туда-сюда всего по двум комнатам, постоянно оглядываюсь по сторонам и понимаю, что он не может красться за мной по пятам или ускользать у меня прямо из-под носа, попросту потому, что его здесь нет. Теперь я знаю, что его нигде нет в квартире. Мне кажется, всего за несколько секунд я потерял рассудок, так страшно кружится голова, словно я при смерти: выходит, я никогда не знал Т., ведь его здесь нет, ничто не говорит о его присутствии. Мы так сильно друг с другом связаны, что он обязательно бы уже появился, он не мог бросить меня одного в таком ужасе. Его не существует, я его выдумал. Или, быть может, не существует меня в этой квартире, я никогда здесь не жил. Должно быть, я давно уже умер, я призрак, нежданный гость. А Т. — живой, теперь он снимает эту квартиру, в которой я жил несколько десятилетий назад до того, как умер. Я стою возле застекленной двери и собираюсь ударить по ней рукой, чтобы вернуться к реальности, чтобы грохот и кровь помогли мне выбраться из этого состояния. Я ору. Но тут

слышится голос Т., он вылезает из-под одеяла (я совершенно забыл о кровати, пока искал, взгляд мой скользнул по скомканному белью без малейшего подозрения), я хватаю валяющуюся на полу одежду и, крича, кидаю ему в лицо, вылетевшие из карманов монеты бьются о стену и падают, вместе с ними документы, шарик, которым он играл в детстве и который носит с собой в качестве талисмана. Я рыдаю, он протягивает мне руку. Я понимаю, что, стоя на коврике у самого входа, когда висящая на ручке двери белая рубашка еще больше загораживала мне картину с валяющимися теперь на полу бумажками, я не мог видеть эту часть комнаты, это пространство выпало из поля моего зрения, сделавшись вдруг безлюдным, пустым, с одним только скомканным покрывалом, когда Т. нигде не было, оно превратилось в точную картину его исчезновения и моего ужаса. Я спокойно встаю и иду в соседнюю комнату за фотоаппаратом, возвращаюсь, сажусь на кровать, где лежит Т., вытаскиваю объектив, нацеливаюсь на эту слепую зону и говорю: «Это иллюстрация моего ужаса». Но до того, как я успеваю сделать снимок, Т. вырывает у меня фотоаппарат и расходует последние кадры пленки впустую. Он вертит фотоаппарат в руках с такой силой, что тот ломается. Я его упрекаю. Он начинает плакать, словно ребенок, отказываясь признаться, что именно его так опечалило.

2. Я был с М. в Берлине, мы спланировали день, чтобы пересечь границу, и в тот вторник с десяти утра обретались в восточной части. Но в музее живописи, где мне хотелось посмотреть на Лейбля и Либермана, большинство залов оказалось закрыто. И оба кафе, куда я хотел отвести М. и куда два года назад мы заходили с Т., тоже были закрыты:

первое не работало по вторникам, второе открывалось лишь в десять вечера, а к тому времени нам пора было возвращаться на запад. Не найдя себе занятия, мы брели по улице, звавшейся «Аллеей красивых домов», все они были страшными. Зашли на еврейское кладбище, чтобы прогуляться среди могил, но все они выглядели одинаково и никак нас не впечатляли. М. хотел оттуда уйти и как можно быстрее, ему вообще не терпелось убраться из восточной части. Но в конце длинной стены, окружавшей кладбище, виднелось высокое странное здание, башня из красного кирпича, на которой висела табличка «Дом молодежи». С тех пор, как мы попали в Восточный Берлин, мы не зашли еще ни в один дом, если не считать музея и кафе, где пришлось стоять в очереди с другими посетителями, и я решил, что мы осмотрим это здание перед тем, как уехать. М. брюзжал, но я уже поднимался по высокой крутой лестнице, загроможденной ящиками пустых бутылок. М. следовал за мной, я же не оборачивался, зная, что всего несколько его слов отобьют у меня охоту двигаться дальше. Внезапно мне стало

страшно, но все же я толкнул дверь и попал, не успев понять, что же со мной приключилось, в большой зал, заполненный сидящими людьми, один старее другого, изъяснявшимися только жестами, на головах у всех были бумажные шапочки с приклеенными кубиками, которые они порой так или сяк поворачивали, словно оживляя беседу какими-то дополнительными обозначениями. Оказалось, по сторонам кубиков нарисованы различные предметы и звери: чайники, куры, пылесосы, кресла-каталки, ежи. Все обернулись в нашу сторону. Я уже начал пятиться, как вдруг натолкнулся на совсем маленького человечка, он вздрогнул: у него была не только эта пресловутая шапочка с кубиком, но еще смотревшаяся из-за маленького росточка куда более странно длинная густая борода, похожая на черную паклю, свисавшую до самого пола. Подняв на меня взгляд, он принялся пронзительно визжать, издавая возгласы, лишь отдаленно похожие на слова, словно он никогда не слышал обычной речи. М. уже летел кубарем вниз по лестнице. Я тоже удрал от угрожавшего мне карлика. Оказавшись одни на пустынной улице возле этого здания, мы решили никогда не рассказывать об увиденном — никто бы нам не поверил.

3. Тогда мы с Т. еще не знали друг друга. Я лишь недавно вернулся в Париж, мне едва исполнилось восемнадцать, и я жил в длинной комнате, похожей на коридор с зареше-

ченным окном в самом конце. Я заболел и, поскольку друзей у меня не было и никто помочь мне не мог, я провел много дней без лекарств, но температура не спадала, и я решил сесть в поезд и поехать к родителям. Пять часов езды меня окончательно измотали: когда родители пришли за мной на вокзал, я едва был в сознании. Они уложили меня в постель и позвали врача. Но врач припозднился, и пространство вокруг моей постели начало двигаться. Я уже не мог ориентироваться в том, что меня окружало: все стало ужасающе несоразмерным, свидетельствуя о моей гибели; то комната становилось крошечной и мое тело никак в ней не помещалось, то сам я оказывался размеров ничтожных и тонул среди исполинских стен. Я кричал, мне было страшно. Мать подошла к постели. Я видел, что она надо мной склонилась, и различил в ее лице спасительную соразмерность. Мне непременно следовало поцеловать ее в губы как можно быстрее, или, точнее сказать, надо было, чтобы она сама поцеловала меня в губы, только это прикосновение могло вернуть меня на прежнее место в пространстве, в окружающем мире, в самой жизни. Поскольку мать не хотела целовать меня в губы, мне оставалось лишь выброситься из окна. Я умолял ее, бред напугал мать, она от меня отошла, и я различил, как в коридоре она говорит отцу о своих опасениях. Я не мог выброситься из окна: мать его заперла и опустила наружные жалюзи. Тогда я поднялся и выбрался

в коридор, руками сдавливая глаза, натыкаясь на стены из-за вынужденного своего ослепления, во тьме, где скрывались по сторонам ловушки, вспыхивали искры, мелькали светящиеся монстры, я искал ванную, где висело единственное во всей квартире зеркало: мать отказалась целовать меня в губы, и у меня оставалось последнее средство — увидеть собственное лицо. Шаря на ощупь, я зажег свет, почувствовал, что касаюсь животом холодной раковины, и раскрыл глаза перед зеркалом: я узнал себя и вновь опустился на землю людей здравомыслящих.

(1982)

БАЛ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ

Он был уже здесь, когда вошел юноша и улыбнулся ему прямо с порога. Они разговорились. Вдруг до него доходит, что все рассказанные ему истории относятся к событиям пятилетней давности. Юноша только что из тюрьмы — пырнул молодого турка — и вернулся сюда этим вечером, как раз в тот бар, где встречаются турки, югославы, греки, черные, — все, кто продаются за деньги блондинам. Этот юноша — единственный светловолосый человек в баре, у него длинные кудри, на нем дорогая шелковая рубашка, которая явно контрастирует с его шеей и грубым носом, очевидно, что вещь украдена. Обтягивающие рваные брюки все равно что рабочая одежда для привлечения клиентов. Едва дверь квартиры захлопнулась, он расстегивает ширинку, говоря: «Чтобы тебе не пришлось с ней возиться!» — это часть исполняемого им номера. Мужчина, которому он оказывает услуги в обмен на некоторую сумму, радушно и необдуманно добавляет к ней фамильное колечко с бриллиантом. Уходя, юноша назначает ему встречу в последние дни месяца, в то же время и в том

же месте. Он должен отправиться в Югославию, чтобы перегнать украденный грузовик, мужчина же на следующий день едет на остров. Почти весь месяц мужчина постоянно вспоминает о юноше, говорит о юноше и мысленно с ним беседует, лаская его в мечтах, сам же тем временем предается плотским утехам. Ближе к концу месяца, потеряв терпение и истосковавшись, он уезжает с острова, чтобы поскорее прибыть на место их встречи. Он ищет юношу по всему городу, никаких дел у него нет, он заходит в другие бары, ложится по вечерам в отчаянии, что снова не удалось его отыскать, просыпается по утрам в надежде, что сегодня ему повезет. Сотне других парней называет он имя, жгущее ему рот. В забегаловке, где они повстречались, другой юноша указывает на старика с седыми длинными волосами — это не сутенер, но он вечно торчит здесь на табурете у барной стойки, просто так, ему нравится болтаться тут с утра и до вечера, парень говорит: «Иди спроси у этого деда, он всех нас знает, наверняка сможет что-то сказать о том, кто вскружил тебе голову!» Но старик, услышав имя, обращаясь к нему на «ты», отвечает: «Ты от своей любви обезумел, — говорит он, — здесь такое не принято, тут нет никаких правил, и, даже если б я знал этого юношу, то ничего бы тебе не сказал!» До конца месяца осталось три дня, на которые назначена была встреча, и он начал уже побаиваться, но вот один парень подкидыва-

ет ему идею, называя дансинг, прежде ему неизвестный: «Бар одиноких сердец». Это мрачное место, где собираются женщины от сорока до шестидесяти, мужчинам там полагается носить галстук; альфонсы из неженок, порою уже пресыщенные, покупают себе галстук и дефилируют там перед бабами, молча сидящими в духоте, ожидая, пока кто-

нибудь пригласит их на танец. Один из таких парней в баре заметил, что он на него пристально смотрит, и — как тот первый юноша в первый вечер — подумал, будто затухающая его жизнь вспыхнет вот-вот с новой силой, и издали улыбнулся. Сотне парней говорил он вслух заветное имя, этот уже сто первый, и теперь он думает, что можно и промолчать, и ведет парня к себе. С ним он познает радость, схожую с той, что была когда-то, он платит юноше за труды и вдруг, перед самым его уходом, с безразличным видом, как будто случайно произносит опять это имя, сдавшись. Услышав имя, юноша описывает во всех деталях того, первого, и сообщает, что тот умер — он продал кольцо с бриллиантом и с одним из приятелей отправился в Амстердам. Летом клиентов сделалось меньше, остались одни только капризные и скупые; в Амстердаме на полученные от продажи кольца деньги он купил порошок, который его и прикончил. В то время, когда сам он на своем острове представлял лелеемый образ, запустив руку в штаны и твердя заветное имя, юноша отправил-

ся в мир иной. Ему и в голову не приходит, что рассказывающий эту горестную историю мог что-то напутать, ошибиться или солгать.

(1983)

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПРИЕМ*

(ЗАПИСКИ ДИСМОРФОФОБА)

Фотографии сняты в Багерии, недалеко от Палермо, во дворце князя Палагонии, в ноябре 19** года. Мы с Т. присоединились к Э.Г.**, ждавшему нас в своем доме на острове Эльба. Сели на поезд в Неаполь, а оттуда ночью плыли на корабле до Палермо. Пустой бассейн теплохода был закрыт большой рыболовной сетью. Ночь провели на палубе, лежа в шезлонгах под одеялами. На рассвете судно встало на рейд близ Палермо, синеватое небо было еще окрашено последними отблесками электрических фонарей. У всех троих это путешествие запечатлелось в памяти как нечто стремительное и диковинное: жили мы лишь во дворцах, хотя денег с собой было очень мало, всюду проводили одну только ночь. В Сицилии стояла удушающая жара, номера

---

* Этот текст был опубликован в качестве предисловия к альбому «Фотографии» Эрве Гибера, вышедшему в издательстве «Галлимар» в 1993 году. Повествование ведется от лица Венсана – юного друга писателя.

** Эрве Гибер часто гостил на острове Эльба у своего друга Ханса-Георга Бергера.

с кондиционерами были настоящим спасением в долгом путешествии, все расстояния мы преодолевали пешком и случалось, что засыпали в шесть часов вечера.

За несколько лет до того Т. рассказывал мне о дворце князя Палагонии: в XVIII веке в пригороде Палермо благородный сицилийский дворянин превратил оставшиеся после отца владения в храм подделки. Сам страдавший от физического уродства, которое старался от всех скрывать, он заполнил сады и дворцовые залы статуями карликов, горбунов, великанов, гидр. Отпилил на разной высоте ножки у всех сидений, чтобы мебель была неустойчива, приказал обустроить комнаты для прислуги так, чтобы все в этих помещениях ходило ходуном, садовые же аллеи повелел проложить, выстраивая обманчивые перспективы. Мраморные стены дворцовых залов были облицованы зеркалами, скрывающими уродство их обитателей, смягчающими неправильные черты и в то же время наделяющими хорошо сложенных посетителей уродством с помощью игры отражений. Т. услышал эту историю от странного приятеля, изучавшего архитектуру, но, когда мы собрались ехать в Палермо и о ней вспомнили, оказалось, что имя князя и название его обиталища из памяти улетучились, расспросить же о них снова уже было некого, поскольку приятель этот свел счеты с жизнью.

Мы рассказали историю Э.Г., она была ему хорошо известна. Он нашел место, где

говорилось о князе, в одном томе Гете, посвятившем ему две страницы итальянского дневника. Гете писал о князе несколько встревожено, словно напуганная мещаночка, узревшая торжество необычности. Однако в своем повествовании он приводил название этого места, и его можно было легко отыскать на карте. Мы сели в поезд, идущий в Багерию

и полный каких-то чопорных подростков, рассматривавших нас, словно мы другой расы. Ворота дворца оказались заперты, вход был по расписанию лишь в определенные дни, никак не совпадавшие с нашим пребыванием. Мы отыскали привратницу, оказавшуюся особой доброжелательной, и она дала нам ключи. Так мы попали совсем одни в дворцовые залы. Э.Г. все еще бродил по саду меж белых разваливающихся статуй с отбитыми носами, с телами, отполированными падавшей с неба водой и насекомыми, что выбираются из укрытий лишь ночью. Войдя в главный дворцовый зал, — пока Т. раскрывал ставни, впуская свет, — я сразу же потерялся в величественном пространстве, где князь принимал гостей, взор скользил по изогнутым плоскостям, в которых отражался мой задумчивый образ, разъятый на части, которые я мог выбирать и варьировать, смещаясь всего на несколько миллиметров, меня охватил леденящий восторг, и тело, обычно ненавидящее раздевание, вдруг взбунтовалось и сбросило с себя всю броню, будто следуя высочайшему повелению; освободившись от одежды, счаст-

ливый, к великому удивлению Т., я лег голым на холодные плиты, где на них падал луч света. Тело мое множилось в мерцающих плоскостях, бесконечно переходящих одна в другую от пола до потолка.

Я восхвалял это пространство, посвященное тератологии, демонстрируя собственное уродство. Я приносил дары прошлому, призрачным своим братьям, тем страданиям, что впитали в себя зеркала. В то же время я выставлял себя напоказ лучам света и объективу, поскольку слышал, что Т., ходя кругами, делает снимки, решив свидетельствовать о приношении в жертву моей наготы.

Но когда, вернувшись в Париж, я смотрел на контрольные снимки (разумеется, умыкнув пленки у Т.), леденящий восторг покинул меня, и странное поведение кривляющегося тела, скинувшего одежды, казалось мне непонятным, абсурдным. Собственная нагота всегда вызывала у меня отвращение, и служащие тому доказательством фотографии просто отталкивали. Долгие годы я воздерживался от того, чтобы их напечатать, отдать в мастерскую, оказаться во власти чуждых мне рук. Потом как-то раз Э.Г. позвонил из Германии: он написал текст о Багерии, который хотела напечатать одна газета, и ему нужна была иллюстрация. Он знал о существовании этих пленок, сказал, что текст его рассказывает о самоубийстве. Я попросил приятеля, у которого была фотолаборатория, отпечатать вместе со мной эти снимки,

чтобы срочно отправить Э.Г., так как сроки уже поджимали. Но прежде, оставшись один, я внимательно изучил все контрольные кадры и пленки, мне хотелось сжульничать: те, на которых уродство было совсем очевидным, я уничтожил. Я отверг свою жертву, я предал братьев. Я выбрал две фотографии, где уродство было сокрыто, засвечено яркими лучами, его будто стершими. Я превратил его в своего рода кокетство.

Мы с приятелем принялись печатать снимки, и каждый раз я склонялся как можно быстрее над проявителем, стараясь удостовериться, что изображение моего тела неразличимо, что едва лишь намечены его контуры и все заполняет собой сияющая белизна. Это была лишь изможденная фигура, которая вполне могла ассоциироваться с самоубийством. В это время в темную комнату вошел еще один человек, принявшийся разглядывать отпечатанные кадры и нашедший их скверными, он просмотрел негативы и, должно быть, почуял что-то неладное, однако еще не понял, в чем именно дело. На негативах ничего особенного не читалось, но, видимо, мое нервозное поведение и поспешность, с которой я склонялся над проявителем, чтобы проверить, не слишком ли все различимо на фотографии, навели его на некоторые мысли. Теперь настала пора сказать, что этим человеком был мальчик моложе меня, которого я очень желал, которому признался в своих пламенных чув-

ствах, и он снисходительно меня выслушал, приняв мои слова как подношение, знак моего почитания, с годами оно становилось все крепче, но ни к какому ощутимому результату так и не привело. У него в руках вдруг оказалось изображение моего тела, да еще обнаженного, что не было дозволено никому из моих возлюбленных. И приятеля моего охватил такой же леденящий восторг, какой испытал я во время приношения своей жертвы, и восторг этот словно должен был проявиться в страстных его движениях. Он сам был фотографом и однажды просил меня позировать обнаженным, но я отказался. В тусклом свете красного фильтра он принялся прорисовывать проступающие кадры с помощью фетра, меняя границы света и тени. Потом вырезал соответствующий по форме кусок картона, сделав заслонку, скрывающую слишком темную часть, засвеченную на пленке, и выявляющую — наоборот, — не теряя в тени детали, часть светлую, так, чтобы все мелочи стали видны. Потом принялся нарезать печатную бумагу, чтобы на ней помещалось изображение лежащего тела, дабы опытным путем с точностью до секунды высчитать время экспозиции, которая могла бы его продемонстрировать без искажения. Эти листы, различные варианты, вышедшие из проявителя, множащие одну и ту же картинку, казалось, превращаются в зеркальные поверхности, возведенные палагонийским князем в чертогах его дворца. Все

действия мальчика, не знавшего моего тела, нацелены были на то, чтобы его узреть и — главное — чтобы, творя обратное заклинание, воспротивиться моему предательству, чтобы собственный его восторг возродил восторг, испытанный мною, и вернул смысл прежней жертве.

Свет не спас мое тело, как я надеялся, наоборот, свет при помощи фотоаппарата запечатлел всю суть реальности. Мое истинное тело медленно проявлялось в его руках, словно он был чародеем. Все его движения мне казались магическими: он водил из стороны в сторону картонной заслонкой над снимком, не задевая бумаги, чтобы прием этот был не столь уж заметен, и все увеличивал экспозицию до тех пор, пока тело не выдаст тайны. Порой он проводил над картинкой рукой, словно лаская на расстоянии, чтобы тени в изгибах и впадинах не поглотили все тело. Наблюдая за операцией, я стоял рядом, мучаясь и восхищаясь одновременно. Наконец, уродство стало заметно, и мальчик прекратил свои пассы, весь мокрый от пота, словно после рукопашного боя, спуска в шахту или допроса с пристрастием. Позже, когда я с изумлением рассказывал об этой истории, мне ответили, что подобные манипуляции вполне обычны и широко распространены среди тех, кто сам печатает снимки. Вот так получилось, что я еще больше стал любить фотографов и печатников. Аллегория фотоискусства,

несмотря на все мои возражения и попытки что-нибудь утаить, оказалась еще одной статуей, возведенной князем Палагонии в храме уродства.

(1983)

СОПЕРНИКИ

На протяжении десяти лет я хотел написать роман, заранее озаглавив его «Соперники», много раз начинал и вскоре снова бросал. Полагаю, у любого писателя есть свои навязчивые идеи относительно будущих книг, работа над которыми все время откладывается и которым он по недобросовестности, но вполне охотно, предпочитает проекты неожиданные, что, подобно нахальным молодчикам, их подсекают, оттесняя все дальше в тень юношеских замыслов. Мне следовало понять, что история эта сводилась к одному только образу, к одной картине, и все, что должно было к ней вести, определять ее, сопутствуя, наполняя и оживляя, служило предметом неимоверной, тяжелой работы: вместо сюжета — сплошные прикрасы, вместо признания — одна только болтовня. История эта была настолько значимой, что я все кружил возле нее среди посторонних деталей, зачастую следуя окольным путем с намеками, аллюзиями, лейтмотивом тончайшей вязи или секретом Полишинеля, она лишь вертелась на языке, я шептал отдельные фразы вместо того, чтобы, как мне хотелось, охватить ее целиком.

Но однажды самый преданный из читателей попросил меня написать рассказ о сиамских близнецах, и вот, что я сразу ему ответил:

«В старших классах лицея Эжена Фромантена, что в Ля-Рошели, я столкнулся со своего рода предводителем всех учащихся, он был костистый, патлатый, высокомерный, ростом выше остальных, стало быть, и выше меня, который за последний триместр вытянулся и не желал мириться, что кто-то его обогнал. Я не хотел смотреть на него снизу вверх, подняв голову, пусть он и был красивым, его красоту я ненавидел. В соревнованиях он шел первым, когда я — вторым, и вторым, когда я — первым, однако мы притворялись, что не придаем большого значения этому подобию состязаний, за которым в классе следили кто с раздражением, а кто и с воодушевлением; мы были выше этого: каждый жил в своем мире, о котором время от времени словно бы проговаривался, испытывая удовольствие от своей инаковости, он — упоминая о письме ответившего ему модного писателя, я — намекая на оказываемые мне знаки внимания и даже на близость с премиленькой актрисой из театральной труппы, в которую меня приняли и которая однажды давала представление у нас в классе… Воистину, мы не переносили друг друга, и все же (возможно, именно по этой причине), поскольку оба мы ненавидели занятия физкультурой и тупоумные соревнования, с нею связанные, мы принялись однажды, влекомые своей не-

нависть, перед всеми друг друга ласкать, запустив руки под одинаково расцвеченные мягкие тенниски: его руки, поднимаясь вдоль моего торса, отыскали впадину, мои же натолкнулись на длинную выступающую кость, похожую на хребет акулы. Нам оставалось лишь поцеловаться, сочетая браком наконец-то показавшие себя две наши ненависти, сложившие выступ и выемку.

(1983)

ИЗДАТЕЛЬ

В течение трех лет я собирал сведения о некоем издателе. Все считали его человеком мрачным, однако и у него имелись свои маленькие радости. Правда, он не любил ими делиться с авторами. Он потирал руки, прикидываясь то нищим подвижником, которому следует уступить авторские права, то помещиком, у которого нет ни средств, ни интереса что-либо печатать. Порой он громко сетовал о былых временах, когда хорошие писатели платили издателям за публикации.

Он с охотой твердил о кризисе. Это был самый обескураживающий человек, которого я когда-либо знал, и уныние мое дошло до предела, когда меня вдруг осенило, что все его ламентации продиктованы лишь одним, а именно извлечением собственной выгоды. Должно быть, он погубил немало авторов, лишая их малейшей поддержки и швыряя в лицо, когда они оказывались перед ним совсем беспомощными, жалкие барыши, при этом даже не подделывая счета, — нет, он был сама порядочность, чего не мог сказать о некоторых собратьях, — вынуждая авторов сомневаться и ждать отказа, а это еще

больше увеличивало издательский капитал. На чужих костях он строил себе состояние. Самоубийства способствовали продажам и выпуску биографий. Лишь по смерти автора он начинал делать ему рекламу, независимо от того, была кончина тайной или демонстративной, превращалась она в символ или особыми мотивами не подкреплялась. Тогда он пускал по миру наследников, оставляя побольше собственным. А порой даже намекал, что, быть может, пора ему избавить своих детей, — как он утверждал, являвшихся единственным смыслом его жизни, — от всякого рода отцовских ограничений.

Когда какой-нибудь из авторов являлся к нему неожиданно с новой рукописью, на которую ушли год или два работы, он напускал на себя удрученный вид и сразу объявлял, что вынужден отказать, каким бы хорошим текст не был, поскольку продажи сейчас резко упали. Пускался разглагольствовать о трусости и скудоумии шайки критиков, об отсутствии вкуса к новому и о лживых пристрастиях. Не стоило даже питать надежды: эта книга никого не заинтересует, о ней не станет писать ни одна газета, а посредники и продавцы — он должен это признать — начнут зевать при одной мысли о том, что придется читать или продавать еще одну книгу этого автора.

На следующий день утром, весь зудя, он старался разбудить упавшего духом ав-

тора, застав его в измотанном состоянии, в замешательстве после кошмарной ночи. Он так просил прощения, что автор не решался повесить трубку, а потом добивал писателя градом всяческих комплиментов, которых тот уже и не ждал услышать, так что теперь они вызывали в нем живейшую благодарность. Он лишь мельком с прилежным трогательным энтузиазмом касался своего вчерашнего пессимистического прогноза: разумеется, тысячу экземпляров продать не удастся, но все же книга потрясающая и, если эта не разойдется, то, быть может, следующая — при условии, что автор соблаговолит прислушаться к некоторым советам, — вероятно, сможет достичь лучших показателей по продажам, в рамках разумного, конечно.

Советы были такими: писать книги потолще, вымысла должно быть побольше, а главное — задействовать великие вечные темы — любовь, смерть, войну. Автор клал трубку и шел проблеваться в ванную.

Ближе к полудню издатель всучивал ему ручку и, призывая довериться, заставлял подписать контракт, по которому рука и сердце автора всецело принадлежали его стороне, пока не будет написано еще пять новых книг, — таким образом, число произведений, на которые теперь распространялось нелегальное «преимущественное право», увеличивалось до восемнадцати, — без какой-либо финансовой компенсации, но при максимальном

ущемлении прав: урезалось тут, сокращалось там, и от контракта к контракту роялти уменьшались до 1%, а все мыслимые права на любую адаптацию уступались без всякого возражения. А потом издатель в одиночестве отправлялся подкрепиться в соседний ресторанчик, где его приветствовали как человека весьма значительного, хотя он упорно выбирал блюда подешевле.

Спустя две недели автор получал верстку, вычитанную и исправленную самим издателем, который к собственной работе присовокуплял труды корректора и переводчика на все языки сразу, — поскольку так называемые профессионалы имели свои наглые денежные притязания, — а также официального представителя, что бегает от одного нужного человека к другому, — поскольку чтение теперь ведь больше никого не интересует и каждый проданный экземпляр — это победа, — кстати казать, достаточно ознакомиться с опросами и некоторыми научными статьями, чтобы осознать жуткую реальность: у грядущих поколений уже не будет привычки к чтению, это станет совсем старомодным, так что они, попросту говоря, не смогут получать от книг ни малейшего наслаждения. Автора приглашали надписывать книги, адресуя холодные, вежливые посвящения критикам, которых издатель недавно ругал на чем свет стоит.

Ему требовалось постоянно сражаться, пусть это и была чистейшая блажь, питаемая

особой жаждой, когда он начинал трястись, что-то вынюхивать, заламывая руки, без всякой причины носился вверх-вниз по лестнице принадлежавшего ему небольшого особняка, отчитывая посетителей, случайно подворачивавшихся под руку и словно бы представлявших противника, которого он искал. Он всегда выигрывал все бои и, беспрестанно одерживая победу, когда дело заканчивалось, начинал чахнуть. Искал случай для новой стычки и, чем необычнее предоставлялся повод, тем сильнее смаковал заранее величие своего триумфа.

Воскресенье было днем худшим, угрюмым и мрачным. Ему было не с кем бороться, не с кем ввязаться в бой. Тихий нрав супруги его раздражал. Он отправлялся в лес, чтобы орать на деревья.

(1984)

НЕКРОЛОГ

В течение трех дней я ждал звонка от П. (очевидным доказательством тому служат данные строчки, мне не терпелось, чтобы он принял участие в одном деле). Лег я около десяти, поужинав в одиночестве, так как несколько приболел. Я положил таблетки для горла рядом с часами в изножье кровати; нагнувшись, чтобы погасить свет, обнаружил свалявшийся клок волос с пылью, брезгливо взял его и поднялся, чтобы выкинуть в помойку. А без двадцати девять меня разбудили из-за покойника. Зазвонил телефон, я включил свет, чтобы посмотреть, который час. И сразу же подумал, что звонит П. Если бы я догадался — это было бы гораздо разумнее, — что звонит коллега из редакции, желая отдать дань умершему, то не взял бы трубку, изменив своей братии. Я был страшно разочарован, услышав женский голос. Даже подумал было просто повесить трубку, но умершим оказался ни в чем не повинный орнитолог, и я ощутил ответственность. Спросил, во сколько должен продиктовать статью, коллега мне солгала, сказав, что в десять. Я повесил трубку, было без пятнадцати девять, оставался час

с четвертью. Я сразу же поднялся, побрился и принял душ, потом, в ожидании, когда высохнут волосы, — я знал, что не смогу ничего написать, если не вымою голову, — принялся рыться в папках книжного шкафа, отыскивая сведения об английском орнитологе, скончавшемся накануне своего семьдесят девятого дня рождения. Я собрал все по орнитологии и вышел на улицу с еще не вполне высохшими волосами, было десять минут десятого; с собой я прихватил, чтобы прочесть в кафе, самую важную статью об орнитологе, написанную при жизни. На улице я встречал взгляды, с которыми не привык сталкиваться: на меня глазели дети из бедных семей и краснолицые существа, всю ночь переваривавшие конину. Какой-то человек, склонившись над мусорным баком, собирал кучу порванных писем. Мне стало интересно, что это там такое, но он не собирался мне ничего объяснять, лишь косо глянул, и глаза у него оказались совершенно пустые, в них не было даже злобы, и я поскорее отвел взгляд. Мне пришла в голову мысль как-нибудь запятнать память этого орнитолога и продиктовать исключительно ложную информацию, проверять которую, разумеется никто не возьмется, я все еще единственный специалист по орнитологии в этой газете и в этой стране. Подозреваю даже, что некоторые из моих собратьев просто не знают, что обозначает это, в общем-то, обычное слово; а сам я гораздо больше других интересуюсь птицами, насе-

комыми, дождевыми червями и утконосами. Однако в кафе я замешкался, перечитывая статью и пытаясь сгрызть высохший круассан. Толстая женщина за стойкой не привыкла видеть меня так рано; когда я от нее уходил и смотрел на часы, была половина десятого. Мне оставалось не так много времени, всего полчаса, за которые надо дойти до дома, подняться на шестой этаж, положить недоеденный круассан на каминную полку, — я собирался доесть его, когда работа будет готова, — а еще успеть почистить зубы и сесть за письменный стол. Больше всего я опасался стенографисток. Я дважды имел с ними дело, когда газета отправляла меня в дальние страны на орнитологические фестивали. Тогда я понял, что диктовать статью — настоящее унижение: озлобленные стенографистки заставляли меня по многу раз повторять мое имя, словно я какой-то там самозванец; удрученно вздыхали, когда сообщал им количество страниц; пытались избавиться от меня, передавая от одной к другой; прерывали связь, обещая перезвонить; вынуждали повторять некоторые фразы, произносить которые было мучением, давая понять своим тоном, насколько позорно, ничтожно то, чем я занимаюсь, обращаясь к людям, которые первыми узнают о государственных переворотах, авиакатастрофах и смертях сильных мира сего. Хоть они и противились, я все же настоятельно указывал им, где стоят запятые, а имена собственные диктовал по бук-

вам: я знал, что в любом случае прочитаю послезавтра статью, ни в чем не похожую на ту, что составил я сам, и бесчестно подписанную моей фамилией, изобилующую жуткой отсебятиной, о которой буду жалеть, встречая жалобные взгляды собратьев и получая многочисленные письма от разозленных читателей. Правка была убийственной: каждое уточнение топило меня все глубже в глазах этих пристрастных созданий. Я предпочитал отвечать, что да, это я написал всю эту ахинею. Вмешательство, если можно так выразиться, стенографисток делало текст бесполезным, бессмысленным и вызывало в читателе ненависть к бесконечным повторам. Отводимое им время было настолько ужасным, что не могло быть и речи о фразах красивых, о скобках, о тонкостях и полете фантазии, информация должна была поступать без всяких излишеств, что называется, в телеграфном стиле. Наконец, я отодвинул в сторону справочник. Было без четверти десять. Времени написать что-то значимое не оставалось. И в старой статье, которую только что перечитывал, я уже написал, не подозревая об этом, доподлинный некролог — достаточно было продиктовать этот текст, никто бы ничего не заметил. Но я забыл все, что знал об этой персоне, и сразу же принялся нелепо, безрассудно выдумывать. Писал, что ученый был втайне маниакальным собирателем птиц, записывал их голоса, подражал им, делал чучела и рядился в перья, и украдкой, скрываясь

от жены, предавался орнитомании, иначе говоря, гаданию по полету или пению небесных созданий. У меня по-прежнему была небольшая температура. В конце я объяснял причины его смерти, поскольку все же он был не таким уж старым: он целовал птиц в клювик, так и сяк вертел их у рта, жевал перья, пробовал их помет, спал на подушке, набитой тоненькими голубиными косточками, и в конце концов подхватил орнитоз, инфекционную птичью болезнь, передающуюся человеку, у которого она может перерасти в пневмонию. Он испустил дух, прочирикав всего несколько слов: «Какая же красота!» Было десять минут одиннадцатого, я знал, что статью мою напечатать нельзя. Но я ни разу еще не диктовал некролога, я не знал, что подобная разновидность текста внушает стенографисткам особое уважение и, вероятно, может заставить их наконец-то причислить меня к созвездию великих журналистов-могильщиков или мусорщиков. Статья была принята, словно письмо на почте: стенографистка ни разу меня не перебивала, внимательно слушала, где стоят запятые, и в четверть одиннадцатого текст напечатали в шести экземплярах, доставили в капсуле или посыльным руководству редакции, главному редактору, начальнику отдела, наборщику, корректору и, наконец, в архив в качестве доказательства предпринятых стенографистками великих усилий и переданной мною лжи, все на тонкой бумаге, с указанием часа на случай разоблачения. Я представил, как моя статья путеше-

ствует по пяти этажам, пересчитал количество человек, которых она должна пройти: пять работников могли меня уличить. Об оставленном на каминной полке круассане я позабыл, погрузившись в мечты. В самом деле, почему я решил, что влюблен в П.? На птицу он никак не похож. Познакомились мы лишь три дня назад. Скорее, он смахивает на кота, на котов же у меня аллергия. Давняя любовь, на которой я поставил уже было крест, внезапно вернулась спустя год неприязни, дабы свести нас, словно уверившись, что он произведет на меня впечатление. Шея у него оказалась такая хрупкая, мне же всегда нравились затылки крепкие и могучие, и теперь эта незнакомая, обожаемая шея, выныривающая из черного воротника, терлась о мою руку. Зазвонил телефон: я сразу же узнал голос главы редакции, с которым практически никогда не имел дела, я был готов с гордостью подтвердить достоверность моих утверждений, однако же он звонил, чтобы меня поздравить. Я в унынии положил трубку. Мне хотелось вернуться к своим грезам о П., но образ его распадался, в ладони было лишь болезненное ощущение от того, что она не может коснуться его затылка, тершегося о руку часов сто назад.

(1984)

ПЕРЕПУГАННЫЙ

Однажды какой-то приятель — вероятно, со злым умыслом — говорит ему, что человек может проглотить собственный язык и от этого задохнуться, например, когда теряет сознание, поскольку язык держится лишь благодаря сокращению мышц, в точности так же внутренности удерживаются анусом лишь благодаря усилию воли, просто организм так решает и следует этому на протяжении всей жизни.

Кажется, услышавший — человек весьма впечатлительный, поскольку мысль о том, что можно подавиться собственным языком, становится для него наваждением: теперь ему трудно глотать, когда он ест или пьет, он больше не решается спать на спине. Он наводит справки: вместо того, чтобы успокоить, врач еще больше тревожит его, рассказывая, что в случае потери сознания язык следует обернуть какой-нибудь тканью, прикрепив ее к неподвижной точке снаружи. Врач добавляет, что в каждом купальном округе, где все время может кто-нибудь утонуть, имеется специальный человек из гражданских,

прекрасно умеющий плавать и наделенный исключительным мужеством, отвечающий за поиск тех, кто вольно или невольно идет ко дну; вытаскивая утопающего на берег, он прикрепляет ему язык английской булавкой к нижней губе, чтобы человек случайно не подавился.

После долгих поисков перепуганный мужчина встречает одного из береговых героев и просит его, обещая оплатить ужин, рассказать во всех подробностях о спасательных мерах. Ему показывают заржавевшие английские булавки, послужившие означенным выше манипуляциям и хранимые спасателем в качестве своего рода трофеев.

Чтобы как-то выместить страх, человек принимается поедать, с наслажденьем гримасничая, языки животных — не только бычьи, но и бараньи, свиные, — хотя до сих пор подобные блюда вызывали у него отвращение.

Однажды он фотографируется голым, лежа на кафельном полу, то так, то сяк в обнимку с огромным бычьим языком. Наконец он пытается проколоть свой язык английской булавкой, чтобы прикрепить его перед сном к губам. Однако ему невыносимо больно, и под конец он думает, не выброситься ли уже из окна, чтобы никогда больше не трястись от страха подавиться собственным языком.

Он представляет, как при вскрытии непременным образом выясняется, что языка во рту у него нет, поскольку он наполовину

переварился в желудке, или же при обнаружении тела язык валяется на некотором расстоянии на полу. Как раз в то время другой его приятель, настроенный благонамеренно, открывает рот, чтобы продемонстрировать ему очевидную анатомическую деталь — маленькую уздечку под языком, удерживающую его в полости рта. И человек совсем позабыл

бы о мрачных историях, если бы другой его собеседник, на этот раз ни о чем не подозревавший, не сказал ему, что порой уздечку во рту рассекают; подобная процедура болезненна, однако проделывают ее часто и с легкостью.

(1982)

EX-VOTO

Семья рыбака принесла в церковь деревянный кораблик с надутыми парусами, мачтами из черешни и тонкой работы снастями, чтобы умилостивить буйное море, не отдающее обратно тела погибших.

Невеста оставила белую фату и букет, перевязанный кружевами, дабы отвести ветреный хмель, что лишает ее мужа рассудка, когда вечерами он без конца режется в кафе в карты и таскается по борделям.

Хромой мальчик, желая украсить ризницу, подарил кюре свою железную ногу с шарнирами и кожаным башмачком, с ремешками и газовыми подушечками, предназначенными для того, чтобы защитить кожу от ржавеющих шин, — теперь нога его снова сгибается, и он даже может приплясывать.

Мать маленькой девочки, перепачкавшей кровью воротник и плечики весеннего платья (на нее напал волк или она упала с велосипеда под колеса двуколки) сложила окровавленную одежду и поместила ее

под стеклом в деревянной раме, дабы возблагодарить небо за то, что не вся кровь утекла из тела, не все жизненные силы его оставили, но по прошествии лет пятна утратили красивый алый оттенок и, дабы посетители не увидели в этой вещи всего лишь перепачканный кусок старой ткани, по глупости помещенный в рамку, на ней прикрепили надпись с описанием несчастного случая. Теперь та маленькая девочка стала очень пожилой дамой.

Что до меня, то я собрал кусочки прозрачной, высохшей и потрескавшейся кожи и капельки слез, которые пожелтели и испарились, хотя я специально их запечатал в небольших флаконах, дабы принести свой дар Богу...

(1982)

ЗДЕСЬ

Когда что-нибудь здесь загорается, пожарные — все добровольцы, убирающие улицы и обряжающие покойников, сумасшедшие или простые безработные дурни — по зову колокола, звонящего с опозданием, поскольку беспечный наблюдатель оповестил кюре далеко не сразу, надевают пожарную спецодежду, сапоги и сбегаются к передвижным цистернам с водой или снегом. Наступает ночь, огонь уже охватил половину холма, грузовик приближается, сворачивает с дороги. Женщин созвали ставить столы и готовить замороженные продукты. Пожарные усаживаются в ряд напротив огня и начинают обжираться, заглатывать фаршированных осьминогов и подтухшее мясо, они пьют смолистое вино и клянут пожар, в то же время называя огонь ласковыми словечками да приговаривая, что никак не могут к нему пробраться, поскольку загорелось как раз в том месте, куда тяжелые машины доехать не могут, а тушить дедовским способом лишь по краям — просто варварство, теперь никто так не делает. Когда они расходятся, чтобы поспать, полыхает уже весь холм, наступает рассвет. На смену

им летит вертолет: он тащит красного цвета бадью, которой черпает воду в бассейнах соседних владений, огонь сразу же гаснет.

Искатель подземных источников живет на материке, у него нет телефона, поэтому приходится ему писать, однако он не отвечает на письма, неизвестно даже, открывает ли он их вообще, за ним надо ехать и платить вперед, а того, кто платит вперед, обслуживают не ахти как: когда он обходит чей-нибудь участок земли, вытянув вперед раздвоенную палочку, от него следует держаться подальше. Как правило, ему не надо идти слишком далеко, чтобы почувствовать воду или чтобы эта штуковина в руках задрожала: передвигаться ему больно, он отморозил ноги в России во время Первой мировой войны и теперь оборачивает их пленкой. Говорит: «Здесь. Надо копать пятьдесят метров, там будет вода», — и уходит. Выкопать яму глубиной в пятьдесят метров дешевле, чем пригнать цистерну или купить резервуар. Копают на глубину пятидесяти метров — нет даже намека на воду. Снова идут к лозоходцу — тот гневается, что его опять беспокоят, бормочет себе под нос и, желая избавиться от незваного гостя, цедит: «Копай еще пятьдесят метров, будет тебе вода». Владелец вновь тратит деньги, чтобы углубить эту сухую яму. Когда же приходит пора опять идти к искателю подземных источников, гневается уже заказчик: выкопать яму глубиной в сто метров стоит

гораздо дороже, чем пригнать десять цистерн и купить самые большие резервуары; земля стала уже слишком твердой и плохо поддается кирке, ее долбят, погружаясь все глубже и натыкаясь на заразные, страшные кости зверей, которые можно увидеть разве что в качестве ископаемых в единственной палеонтологической галерее на острове; копатели жалуются, поскольку возможен обвал, профсоюз позволяет им повысить цены в четыре раза. Искатель в ответ ухмыляется: «Копай еще пятьдесят метров, на этот раз ты свое получишь!» Владелец спускает последние деньги, чтобы дорыть колодец, на глубине ста пятидесяти метров наконец-то брызжет вода, в такой толще ее можно найти где угодно. Владелец приносит кувшин с водой искателю, чтобы его поблагодарить. Лозоходец бубнит: «Когда баба от тебя понесет, приводи ко мне, пощупаю ей живот, чтоб одарить тебя за терпение, скажу, какое отродье у тебя народится, девка иль парень, у меня есть лишь один дар!»

Крыс здесь ловят разными способами: если люди милосердны, они покупают маленькую металлическую клетку с подвижным колышком для приманки и пружиной, моментально захлопывающей дверцу, как только крыса притронется к оставленному куску еды. Это устройство не должно ранить животное. На колышек насаживают кусок той пищи, что нравится крысе: сыр стараются не использовать, чтобы не вызывать у зверь-

ка подозрений, его можно заменить подгнившей грушей, белым или желтым персиком вместе с кожуркой, поскольку, известное дело, крысам очень нравится осторожно надорвать плод, чтобы пробраться к мякоти. Деревянную дощечку легонько натирают соком того же фрукта, указывая, как попасть в плен. Ловят крыс по ночам: щелчок створки будит уснувшего хозяина, который несколько часов кряду проверял, насколько подвижен колышек. Крыса попала в ловушку мгновенно, она уже несколько недель безнаказанно опустошала корзинку с фруктами; когда же она различает, что в темноте приближается человек с непокрытой головой, или, быть может, в ночном колпаке, со свечой в руке, в черных крысиных глазах появляется глубочайшее отчаяние; она бы предпочла умереть, нежели терпеть подобное унижение. Однако, когда человек опять исчезает, довольный своей поимкой, и засыпает блаженным сном, уверенный, что через несколько минут его разбудит вторая крыса, уже попавшийся зверек набрасывается на клетку и ранит мордочку. Поутру человек — его распирает от любопытства, к тому же хочется отыграться, поскольку вторая крыса не давала спокойно уснуть, а на рассвете куда-то делась, — видит, что задвижкой зверьку отрезало часть хвоста и из черного мехового обрубка торчит теперь кусок плоти, похожий на тонкую окровавленную спичку. Теперь человеку жалко крысу, в равной степени крыса испытывает отвращение к рыхлой

безвольной физиономии, посмевшей снова приблизиться; зверек желает лишь одного: чтобы хвост вырос до невероятных размеров и размозжил эту опостылевшую башку, потом сразу же можно удрать. Но хвост не растет, а человеку вскоре все это надоедает. Существуют похожие клетки, но у тех под приманкой скрывается колышек заостренный, он сразу же протыкает шею или приводит в движенье резак, ударяющий по затылку, однако здешний мэр никогда не позволит продавать подобные вещи, равно как и городской порошок, свертывающий кровь зверькам, охочим до яств. Чаще люди предпочитают использовать клей с особенным запахом, привлекающим восприимчивых крыс, однако лапки у них начинает жечь, они оказываются почти обездвижены и рвут себе грудку с колотящимся сердцем, пытаясь умчаться прочь. Фермеры используют поделки собственного изготовления, которые считают не столь жестокими: они наполняют достаточно высокую бадейку водой, посреди которой пускают плавать пробковую дощечку, положив на нее самое изысканное яство из всех — еле живую розовую креветку, — чей особенный аромат преследует животное, в какой бы стороне оно не оказывалось. Дощечка плавает возле края бадейки, чтобы крыса могла легко запрыгнуть на пробку: острое чувство опасности мешает пойти ко дну сразу же, проворное животное сохраняет равновесие — так тигр в цирке взбирается на спину скачущей лоша-

ди — крысе удается удержаться на дощечке, которую одним движением пальца можно отправить под воду, зверек съедает желанное лакомство — бедная крыса, терпящая крушение на предательской утлой лодчонке! Она пытается убежать лишь после того, как насытится, но, прибавив к своему весу вес злополучной креветки, животное не в силах удержать естественного равновесия, крыса уже не находит деревянной дощечки, позволившей так легко пробраться к добыче, и, пытаясь допрыгнуть до края бадьи, соскальзывает в воду и тонет. Бесполезно тратить вторую креветку, чтобы поймать сразу двух крыс за ночь (если ракообразных под рукой больше нет, можно попытаться заменить креветку кусочком окровавленного хвоста той крысы, что забралась в клетку, о чем говорилось выше).

Когда пиротехник еще ходил в подмастерьях, у него оторвало руку. Теперь у него есть рука, сделанная из кожи, он ни от кого не зависит и пользуется протезом, как если б это была его собственная часть тела. Фейерверки устраивают тут один или два раза в год — на Успение и когда случается выходящая из ряда вон свадьба, — что требует особых приготовлений в течение всего года, проработки эскизов, выбора оттенков, проектирования фигур, взмывающих в небо и опадающих подобно пыльным букетам, оснастки зарядов и их закладки в бочонки, ящички, траншеи, ямы, обустройства всего этого

по краям вулкана, что вскоре выстрелит вверх цветастыми струями; у пиротехника бывает всего две недели отпуска после того, как закончится представление и он за несколько дней отчистит пусковые устройства, смажет вращающиеся станки, уберет неиспользованные порошки и выбросит мусор. Пиротехник съякшался с пожарными, у которых на время одалживает их бесхребетность, а они перепродают ему свои огоньки…

(1984)

ПРИЗРАЧНЫЙ РОМАН

Я не выбирал, что именно буду писать — романы, рассказы, стихи, или же займусь, например, сказками или речами влюбленного. Выбор заключался в том, чтобы сочинять истории, рассказывая их по возможности непосредственно, словно проговаривая вслух при встрече с другом и замолкая ровно в тот момент, когда история завершилась.

Я торопился писать — вначале очень спешил, был погружен в свои чувства (и чаще всего сочинял не рассказы, а письма), и времени не хватало, поскольку я зарабатывал деньги на стороне, занимаясь журналистикой, и должен был писать много статей; я сочинял очень личные тексты, в которых «я» было дозволено, делал все наспех, как вор, в точно отведенное время. Журналистика научила меня быть кратким, всячески избегать повторов и писать ровно столько, сколько требовала профессия — от двух до шести страниц. Потом я написал рассказ, который, кажется, был сжатой недоношенной мечтой о романе («Стремление к имитации *»).

---

* Последний текст сборника «Одинокие приключения».

Я писал тексты, получавшиеся все длиннее и длиннее, потому что протяженность создает иллюзию развития, продвижения. Издатель говорил мне: «Теперь вам пора заняться романом», критик писал: «Теперь мы ждем от него забега на дистанцию более длинную». Мне самому хотелось придуманных персонажей, хотелось любить их и жить с ними какое-то время, поскольку в реальной жизни особенных приключений мне не хватало и поскольку приключенческий дух, без которого, думаю, писать было сложно, больше сопутствовал чтению, именно чтению, а не путешествиям или встречам с другими людьми. Приняться за роман значит начать жить с привидениями, с призраками всех тех, кто хотел сочинять романы (значит занять свое место в длинной цепочке всеобщей галлюцинации), и тех, кто в романах присутствует в качестве персонажей, вынести такое весьма тяжело. Словно в тревожном сне, нужно идти по темной нескончаемой галерее предков, вести рукопашный бой, пока не придвинется черная дыра пробуждения или финала, с чарующими и хохочущими фигурами, которые забавляются с вами, посылая, словно мальчонку, от одной части текста к другой.

Я только что закончил рукопись в восемьдесят семь плотно исписанных страниц — самый большой из написанных мною на сегодняшний день текстов — это приключенческий роман «Причуды Артура», и вот я случайно натыкаюсь на Бабеля, которого обожаю и который писал только очень короткие тексты.

Счастье читать его приводит в тупик всякое стремление к вымыслу, словно затея эта тщеславная. Когда я читаю «В щелочку» или «У батьки нашего Махно», рассказы на три или четыре страницы, думаю: «Зачем говорить что-то еще, все здесь!» Бабель отталкивается от своих наблюдений и вызывает все большее волнение; как мне кажется, он не придумывает какой-

то особый сюжет, а выстраивает неожиданную для нас композицию; когда же читатель уже во власти волнующей тайны, он обрывает рассказ, дело сделано. Необычные тексты «Конармии» могли бы составить целый роман (и слабоумный издатель попросил бы сегодня Бабеля переработать их, связав в единое повествование): персонажи одни и те же, рассказчик один, события от начала и до конца однообразны и схожи с реальностью. Тем не менее, Бабель посчитал, что надо их разделить, разъять на части, — так бывает разъята жизнь часами сна или провалами в памяти, расставаниями, — дабы вызвать внезапный прилив чувств (при этом он все датирует и обозначает места действий, словно то фотографии), когда происходят сцены кровопролития, смерти, насилия, когда лошадь валится от усталости, — таким образом труд его перестает быть только документом, свидетельствующим о военных событиях (Горький советовал ему идти на службу, дабы было что рассказать), и до срока помещает его в ряды советских пропагандистов.

В 1937 году Бабель в одном интервью заявляет: «У Толстого хватало темперамен-

та на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы*». Но от этого восхищение Бабеля перед Толстым нисколько не уменьшается, и в своем последнем письме, дошедшем до Запада, он незадолго до ареста в 1939 году пишет: «Скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда**». Труд этот, по всей видимости, был уничтожен. Разве не сквозит поразительная жестокость судьбы в последнем выступлении Барта, озаглавленном «Давно уже я стал ложиться рано», где он говорит, что, готовясь сесть за роман (незадолго до смерти), наконец-то почувствовал — это он-то, который обосновывал и превозносил достоинства хайку на протяжении целой жизни, — все совершенство краткой японской формы?

Мечтать о романе значит порою мечтать о смерти, о памяти последующих поколений:

---

* См. текст <О творческом пути писателя>, стенограмма беседы И. Бабеля с участниками вечера в Союзе писателей 28 сентября 1937 года. Цитируется по изданию: Бабель И.Э., Собр. соч. в 4 тт., М.: Время, 2006 г. Т. 3, стр. 398.

** Речь о книге «История моей голубятни». См. письмо от 10 мая 1939 года Ф.А. Бабель и М.Э. Шапошниковой. Цитируется по изданию: Бабель И.Э., Собр. соч. в 4 тт., М.: Время, 2006 г. Т. 4, стр. 356.

мечта о романе питает тягу к письму, однако, если к несчастью чья-то рука напишет роман идеальный, роман совершенный (а рукой этой будет водить дьявол, ибо роман — форма преимущественно несовершенная, тяжкий труд над которой в конечном итоге приводит к появлению плохо слепленного монстра — см. «Моби Дик»), ей останется лишь навсегда отложить перо. Французский XIX век ведет эту форму дорогой необратимой: «Мадам Бовари» продолжает отравлять нас своими тривиальными имитациями, которые навязываются нам как в книге, так и в экранизации (мне больше нравится «Простое сердце», нежели «Саламбо»: я спрашиваю себя, не обедняют ли текст всякие усовершенствования, не обкрадывают ли они его, не скрывают ли они больше, чем способны в него привнести?). Роман, верный идее романа, — когда сюжет разрушает очевидную историю по воле пишущего, несущегося к собственной цели, — это роман незаконченный, как «Поиски», «Бувар и Пекюше», прерванный смертью или же самим автором по собственной воле из-за усталости или юношеского безрассудства, как «Приключения Артура Гордона Пима» (роман заканчивается в тот момент, когда странствия должны привести нас к Богу).

Забравшись на мчащуюся по кругу деревянную лошадь, ребенок, сжав в руке палочку, тянется к небольшому устройству, бросающему металлические кольца, у колец

по бокам острые, опасные бугорки. Долго играя, ребенок собирает все кольца и превращает палочку в странно цветущую ветвь, рука у него одеревенела. Тот, кто забавлялся больше всего, быть может, самый неловкий, аттракцион дается ему с трудом, и он смотрит на свои скудные два-три кольца на палочке, проиграв и тихо про себя торжествуя.

(1983)

КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ

Патрис Шеро* научил меня, что нужны история, персонажи. Мои истории были сами по себе, я писал их под внезапным воздействием чувств, перемещений в пространстве, они сочинялись, как письма, и порой «я» рассказчика превращалось в «он» или несколько изменялось — вот и весь перечень нехитрых попыток что-то измыслить.

Когда я начал писать, сама форма романа, населенного героями, была для меня невозможной, нереальной, чуждой. Я познакомился с одной женщиной, которая была писательницей, она как-то спросила меня: «Хочешь сочинить книгу? Какие там будут герои?». Мне стало стыдно, единственным героем был я, поскольку знал хорошо только себя самого, человеком я был одиноким. Но женщина мне сказала: «Не бывает книг без героев». Патрис Шеро подтолкнул меня к этим героям, ему сразу же потребовались имена, он принялся читать некрологи в газе-

---

* Эрве Гибер в соавторстве с Патрисом Шеро написал сценарий фильма «Раненый», текст был опубликован в издательстве «Минюи» в 1983 году.

тах и ботеновские справочники. Мы возились с именами, как с пустыми конвертами, которые следовало чем-то заполнить.

Патрис Шеро говорил: «Мы должны рассказать историю». Он был одержим схемой, конструкцией, беспрестанно менял планы, номеровал их, чертил на бумаге стрелки, обозначавшие перемещения героев. Встреча. Исчезновение первое. Неизвестность. Встреча вторая. Исчезновение второе. Поиски.

Я полагал, что история станет рассказываться сама собой, если мы привнесем в нее достаточно правды, достаточно нас самих. Для меня реплика была достоверной, если я слышал ее однажды в чьей-то беседе. Вокруг нее, как я думал, можно заново построить весь диалог, и он будет правдивым. Я был единственным, кто в это верил. Я приносил Патрису целые страницы, исписанные диалогами, порой сочиненными в последний момент в автобусе или в метро по дороге, и он их читал, держа карандаш наготове, сразу вычищая их, выхолащивая. Потом все переписывал, словно бы проговаривая про себя, как мне представляется, до тех пор, пока они уже не принадлежали ему.

Если бы всем занимался лишь я один, в конечном итоге, думаю, остались бы только два героя. Очень скоро Патрис сказал: «Нужна женщина, иначе все заскучают», — и мы пытались представить, кем она могла быть, чем могла заниматься. Я не очень-то представлял, что она должна говорить, Патрис почти цели-

ком выписал ее образ. Стрелки, обозначавшие движения навстречу, навели его на мысль, что нужен некий посредник, новый герой, которым стал Босман. Среди моих близких был человек, отдаленно напоминавший этого Босмана, и в течение лет, когда мы его придумывали, дружба с тем человеком стала напоминать слежку за фразами. Я записывал его реплики на бумажных скатертях в ресторане или позже, тайком от него, возвратившись домой после ужина.

А что же Анри и Жан? Когда мы затеяли всю историю, я был влюблен, я был в замешательстве. Передо мной оказалась эта работа, оказался Патрис, а сам я словно попал в приемную (когда можно говорить о самом важном, пытаясь перенести разлуку), в некий колодец, где любовь повсюду, ей можно отдаться, можно ничего не утаивать. И, если следовало что-то непременно сохранить в нашей истории, то, конечно же, следовало сохранить любовь. Разве не показывает изображение на экране героя, живущего этой любовью, ведомого ею с широко раскрытыми глазами, даже когда он спит?

В какой-то момент встал вопрос, не должно ли происходить действие фильма в Берлине, поскольку тогда город еще давал деньги на съемки на его территории. Мы не особенно были в восторге. Мы обошли Берлин во всех направлениях, дул очень сильный ветер, и я продвигался вперед против ветра, опустив голову. Патрис спросил: «Почему ты

не идешь прямо? достаточно только поднять голову!» Никогда сложное действие не казалось мне столь простым, теперь мне нравится ветер.

Патрис отвез меня на Ванзее, на берег озера, где Клейст свел счеты с жизнью, мы сели в метро в восточной части города, чтобы туда добраться, но смотреть было нечего, и мы постоянно плутали. Наши гостиничные номера были рядом, и вечером, когда мы вернулись, изможденные после шатаний, я пошел посмотреть на себя, умытого всеми ветрами, в зеркале ванной комнаты, и сказал себе: «Он всего лишь находится по ту сторону».

Для меня работа началась с очень долгого выбора места, когда я блуждал один. Мы сошлись на том, какая именно это будет история, решили, что будет беспокойное грозовое лето, ночь. Патрис ездил в Байройт, Виллербан. Под предлогом, что мне нужно сделать репортаж, я отправлялся на поезде в Рим, Флоренцию, Мюнхен. Я без конца бродил по вокзалам и вокруг них, заходил в туалеты, игровые залы, смотрел, слушал, записывал. И писал Патрису или, если он оказывался в Париже, «докладывал» ему, читая свои заметки.

В Палермо я попал на празднество по случаю ярмарки, проходившей на границе богатых кварталов и промышленной зоны, было красиво, я подумал, что не стоит заранее отвергать сцену всеобщего гулянья только из-за того, что в кино такое часто показывают, достаточно лишь снять это немного иначе. Патрис

Шеро и Ришар Педуцци* побывали на выезде из Байройта в гараже, переделанном под бордель для американских солдат. Картинки сложились вместе.

Они отправились делать репортаж в Лионе. Нашли там мост, так наглядно показывающий переход из одного мира в другой, в сценарии его не существовало. Они все сфотографировали дважды: в первый раз на цветную пленку, во второй Патрис снял те же планы, использовав новую, очень чувствительную кинопленку, позволяющую снимать в темноте без дополнительного освещения. Вернувшись, он размотал, стоя у окна, множество соединенных меж собой пленок и, получается, показал мне всю киноленту, снятую без актеров. Их черно-белые снимки висели у нас за спиной, приколотые к доске.

Начались съемки, в первый день я отправился, чтобы посмотреть, как все идет, на квартиру родителей нашего героя в северной части Парижа. Первый съемочный план совпадал с первым планом самого фильма: Патрис продемонстрировал мне первые кадры, дав взглянуть в камеру. Я очутился в спальне Анри, она была совсем маленькой, везде беспорядок — мне казалось, она действительно обитаема, она существует.

Жан-Юг-Англад** сидел на кровати и листал иллюстрированный журнал. В ящике ря-

---

* Участник съемочной группы, художник фильма.

** Жан-Юг Англад и Витторио Мецджорно — исполнители главных ролей.

дом лежали книги, принесенные Ришаром Педуцци, я взял посмотреть — это были те же самые книги, которые читал и любил я сам, когда мне было столько же, сколько Анри, в тех же изданиях, с теми же обложками — «Смятение чувств», «Портрет Дориана Грея». Со временем я их растерял и вот снова нашел здесь. У кровати Элизабет Ришар Педуцци положил «Сердце — одинокий охотник», в фильме книги не видно, но я уверен, что ее присутствие все равно важно.

Через несколько дней я уехал в Италию и писал уже новый сценарий. Но в течение полутора месяцев я грезил о фильме. Я снова оказывался возле окна, когда Патрис показывал мне отснятые пленки, но в этот раз в кадрах, которые он разворачивал у меня на глазах, уже были герои. Патрис пригласил меня на одну из последних репетиций перед съемкой вместе с актерами, и слышать, как они произносят текст, было мучением. Я видел Витторио Мецджорно и сказал Патрису: «Такие красивые зеленые глаза — это уже как-то слишком. Надо давать ему время от времени линзы коричневого оттенка».

Когда я вернулся, Патрис показал мне рабочие позитивы некоторых сцен, которыми был особо доволен: видение, поцелуй, последнюю сцену и сцену под номером 114. Я плакал. Никогда прежде я такого не видел, не видел подобных оттенков плоти, кожи, оливковых переливов, подобных ран и страстей. На деревянных ступенях виллы Босманов были две

красных туфельки, говорившие обо всем, что случилось в прошлом. Взгляд Анри был обезумевшим, за ним на плиточном полу разлилась лужица света. Ролан Бертен* спускался по лестнице с телефоном в руке, говоря в пустоту по-английски: Yes, I am alone… What time is it in New York? Мне казалось, я снова слышу Жюля Берри, Жана Тисье**, великих исчезнувших монстров. Я спросил Патриса: «Кто это написал?» Мы не удосужились написать эти фразы в сценарии. Он ответил: «Ассистент, Ронни Шамма». Я подумал: «Черт! Это лучший диалог из всего фильма!»

Тот герой, что был в самом начале, в первых записях у Патриса, — мужчина, плакавший в ожидании жены возле дверей спальни, где она принимала клиентов, герой из сводки о происшествиях, давший первое название фильму, «Плачущий», — от этапа к этапу и потом, когда от съемок перешли к монтажу, постепенно свелся к символу любовных страданий. Надо было придумать другое название, и я в отчаянии составлял перечни скверных вариантов. На моем рабочем столе много месяцев подряд стояла цветная почтовая открытка с картиной Курбе, увиденной в Лувре. Мужчина в полутьме запрокинул голову, глаза у него закрыты, рука с вздутыми венами лежит на поясе, весь свет странным образом

---

* Актер, исполнитель роли Босмана.

** Жюль Берри (1883–1951) и Жан Тисье (1896–1973) — французские актеры.

сосредоточен на белом воротнике рубашки, перепачканной кровью. Я вдруг начал ее разглядывать, заметив те же оттенки, что в фильме, придуманные Ренато Берта*, и подумал: «Быть может, ответ кроется здесь». Я перевернул открытку, там было написано: «Гюстав Курбе. Автопортрет, известный под названием “Раненый”». Я сразу же послал открытку Патрису.

(1983)

* Оператор-постановщик фильма.

КОСОЛАПЫЙ

Эта книга* появилась из ниоткуда — не было никаких приключений, никакой возможности что-либо написать. Шел сентябрь 1982 года. Я ничего не писал с апреля — только сценарий летом, но сценарий — это все же не то письмо, принялся было за роман, но он оборвался на полуслове. Я потерял из виду героя моей последней книги, ребенка из «Путешествия с двумя детьми». Исчез он однажды вечером, все канючил, чтобы я отдал ему «Псов», я отказывался, потом сдался. Он разрезал страницы перочинным ножом в последнем поезде метро, забрал велик и прочитал двадцать страниц, напечатанных крупным шрифтом, пересекая ночной Париж на велосипеде. С тех пор я его не видел: из-за предыдущей книги, страницы которой я сам не решался разрезать, я потерял героя книги последующей…

Я оказался один, без любви, и спрашивал себя, не погибло ли навсегда мое занятие сочинительством, столь зависимое от чувств.

---

* Речь о книге «Причуды Артура», вышедшей в издательстве «Минюи» в 1983 году.

Я должен был на несколько дней уехать в Бастию: с собой у меня оказались «Приключения Артура Гордона Пима», единственный текст По, который так сильно меня пугал, что я не мог его дочитать, когда был подростком. И эта книга вернула мне ощущение авантюры. Сам еще не вполне осознав, я придумал нового героя, его звали Артур.

В день моего возвращения бастовал авиационный персонал. Я застрял вместе с приятелем (которому и будет посвящена книга) в аэропорту Бастии. Один опубликованный в газете отзыв вдруг примирил меня с тем ребенком из книги, или с самой книгой, поскольку некоторые комментарии ранее приводили меня в замешательство, порой порождая мысли, что я потерпел неудачу. Все говорили мне: «Почему же ты так описываешь этого бедного мальчика? Не такой он и страшный». И вот рецензент, некая женщина, пишет, что речь в книге идет о любви, и эта статья, как мне показалось, давала мне право вновь обратиться к ребенку. Я позвонил ему из аэропорта, где попалась мне на глаза газета, он был дома, сказал: «Ой, я только что о тебе думал. Прочитал заметку в газете». Я спросил, могу ли увидеться с ним как-нибудь вечером в ближайшее время, он ответил, что уезжает на каникулы по случаю Дня всех святых, правда, еще не знает куда. Я принялся грезить о новом путешествии, теперь уже наедине с ребенком, я знал, что в этот раз работа над книгой нас больше не разделит.

Подталкиваемый приятелем, я перезвонил ему через четверть часа и предложил отправиться в поездку вместе со мной. Он ответил: «Мы над этим подумаем». Я колебался между Шотландией с ее призраками и Испанией, где музей Прадо, я отыскал одну книгу о живописи и все собирался ее прочитать, когда будет свободное время. Отправились мы на поезде.

Вначале я повез ребенка в Барселону, которую хорошо знал. Я хотел показать ему канатную дорогу над портом, ярмарку на холме, Эль Молино. Забыл отвести его на улицу Рамбла возле площади Каталонии, где несколько лет назад мы с Т. видели одного парня, стрелявшего из рогатки по птицам, а потом совавшего их в мешок. Я хотел рассказать ребенку эту историю. Но уехали мы поспешно: чтобы успеть на вокзал, после парка Гуэль заскочили на такси в гостиницу забрать багаж. За нами из отеля выбежал мальчик в костюме пчелы и, красный от смущения, сжимая в руке перчатку, волнуясь, проговорил: «Вот, месье, я нашел эту перчатку между кроватями!» Я вернул перчатку загадочному ребенку. Посреди сельской местности у поезда что-то вышло из строя, и мы остановились на пути из Барселоны в Мадрид. Читать было нечего. Я взял с собой одну только книгу, «Побережье Сирта» Жюльена Грака, это была одна из самых любимых книг очень дорогого мне друга; я как-то вяло начал ее читать несколько лет назад, когда он мне ее подарил, и вскоре забросил. В этот раз я взял ее с собой, желая

приблизиться к тому самому другу и наконец прочитать то, что для него так ценно. И снова она не особо пришлась мне по вкусу, однако мне нравилось отыскивать фразы, которые могли полюбиться моему другу и, просочившись окольными путями, оказаться в его собственных текстах.

Поезд по-прежнему стоял, читать было нечего, и я даже не мог рассказать ребенку про ту историю, он был весь погружен в рисунок, искоса поглядывая на профиль задремавшей упитанной монашки. Я намеренно не взял с собой благородных вещиц для письма — ни монблана, ни плотных белых листов бумаги, — у меня была только черная японская шариковая ручка и профессиональный блокнот в мелкую клетку, и я принялся писать, просто так, желая лишь провести как-то время, быть может, для того, чтобы прочитать потом эту историю о птичьем смертоубийстве ребенку, точно так же, как мог бы просто сочинить ее вечером на ходу, пока он витал в парах своего гашиша. Мне эта история нравилась, я предложил ее несколько лет назад для сценария Патрису Шеро, но он счел все чересчур романтичным. В ней не было никаких героев, только мужчина, который убивал птиц и страницей дальше получил имя героя По. У Артура должен был существовать какой-то пособник, и появился Лапочка, так звали крестника моего отца, однажды я написал в дневнике, что так может зваться какой-нибудь персонаж книги. Оба сразу же принялись жить собственной жизнью, словно

соединившись с образами героев из сценария фильма «Раненый» — Анри и Жана — они смахивали на их двойников, их преемников.

Ребенок вернул меня в детство, что так перекликается с сочинительством, и японская ручка с простой бумагой, казалось, определяли совсем иной тип письма — скользящий, текучий, немотивированный, почти безучастный. Я продолжал писать, думая, что у рассказа нет будущего, что он остановится, как только двинется поезд. Я приехал в Прадо со сложенными вчетверо исписанными листками в кармане и увидел на стенах изображения выпотрошенных птиц на вертеле, горы разнообразной снеди, осьминогов, ученых обезьян Тенирса и юношей с руками в перчатках, которых писали Тициан, Веронезе. Подобные лица могли быть у Артура и Лапочки. Мои отвлеченные записи совсем скоро превратились в записи романические, история развивалась от картины к картине. Полотна пробуждали воображение. Я словно бы принимал эстафету, живопись проникала в тексты — в любом случае, передо мной представала аскетическая жизнь и святость Артура, он словно был героем картины. Я писал на клочках бумаги, которые постоянно заканчивались — на листках из отеля, на квитанциях об обмене, на музейных билетах — это были отдельные фрагменты, дарившие будущую жизнь героям.

В поезде, что вез нас обратно, — еще до того, как я начал шарить в темноте,

устремляясь к ребенку (за мной сразу же стал повторять Лапочка), чтобы показать ему светящиеся стрелки часов, и он схватил меня за руку, — какой-то американский турист, видя, что я постоянно пишу, спросил: «Сочиняете книгу?» Ребенок с гордостью ответил вместо меня: «Да, он сочиняет книгу». Вероятно, в отличие от меня, ему это было уже известно.

Вернувшись в Париж, я собирался написать историю о современном святом. Я знал, где и как она начиналась и чем должна завершиться, поскольку об этом нам уже рассказывали прочие книги (прежде всего я вспомнил «Легенду о святом Юлиане Милостивом» Флобера — это была одна из книг, что ярче всего запечатлелись в моей детской памяти, прежде всего из-за поцелуя прокаженного Христа), однако я не знал того, что должно оказаться посередине, это было все вещество романа, создание вымысла. Должно было состояться какое-то путешествие. Артура Гордона Пима на хмельной заре так скоро уносит бурей, порождающей в нем тягу к авантюрам и гибели. Я собирался написать настоящий приключенческий роман в соответствии со всеми законами жанра, традиции или тем, что я под ней подразумевал, с долгой дорогой, крушениями, катастрофами, стихийными бедствиями и потрясениями.

В первый раз — с тех пор, как придумал первую часть «Путешествия с двумя детьми», — я сочинял историю. Как дописать ее

до конца, не прибегая к другому чтению? Отчасти я действовал на манер Шеро: готовя спектакль, он окружает себя массой всяких бумаг, текстов, репродукций картин, фотографий, которые не особо-то разбирает, но их присутствие и значимость позволяют ему создавать мечту с большей легкостью, и корабль повествования, груженный своего рода балластом, скользит, ловко минуя подводные камни. Однако я пошел в направлении противоположном Патрису, который принимается за дело, отталкиваясь от текста, только потом отыскивая подходящие ему образы, голоса, декорации. У меня же пейзажи, лица и жесты возникали прежде всего остального, я должен был вначале все это себе представить и только потом уже приступать непосредственно к тексту.

За одной прочитанной книгой следовала другая, продолжалось так без конца. Я читал параллельно приключенческие рассказы и жития святых, поскольку не хотел терять выбранную мною нить. И чтение принялось обгонять замысел, заметки теперь занимали гораздо больше времени, становясь все обширнее, тяжелее. Бугенвиль и Кук привели меня к Гумбольдту, который мне нравился больше них. Мелвилл оказался неисчерпаем. «Золотая легенда» тоже; один приятель дал мне написанное святым Афанасием «Житие святого Антония» и «Писания» Кассиана. Без конца можно было вставлять в текст цитаты и подчер-

кивать всяческие детали. Я хотел отчасти этого избежать, поэтому разместил подобные вещи в специально отведенной главе под названием «Острова», представляющей анаморфированное изображение книжного склада.

На Рождество я отправился на остров Эльба, чтобы написать эпизод с кораблем. Я взял с собой альбом Айвазовского, русского художника XIX века, который всю жизнь писал одни только марины, сцены кораблекрушений и морских атак. На последней своей картине он изобразил одинокий фрегат, взорвавшийся без боя, сам по себе, словно лопнувшее вдруг сердце. Я часто смотрел на его картины в перерывах между работой. Относительно эпизода с кораблем у меня не было никаких притязаний — я хотел всего лишь вновь погрузиться в мечту моего детства, когда оказывался с родителями на их лодке, думая: «Боже, как было бы хорошо очутиться здесь вдвоем с каким-нибудь мальчиком, который стал бы мне другом». Из воспоминаний об этом желании проистекли все поступки Лапочки и Артура.

Мы поехали во Флоренцию и случайно, поскольку другой музей был закрыт, попали в Музей естествознания: я знал, что причуды Артура включали в себя и научные изыскания, и хотел было уже копаться в старинных фолиантах, чтобы о них рассказать; все разворачивалось само по себе перед моими глазами среди обветшалых старомодных

устройств, нужная мне часть текста целиком содержалась в этих музейных залах.

Концовка книги сложилась сама собой: повествования о святых убедили меня, что должна пойти речь о шарлатанстве и фокусах. В «Золотой легенде» меня заинтриговала фраза: «Он поднял голову и увидел сову, иначе говоря, ангела», — и в этом «иначе говоря» я увидел словно бы подтверждение христианского трюкачества. После долгих поисков я отыскал в антикварной лавке два трактата некоего чародея по фамилии Дикинсон, который разоблачал свои трюки, раскрывая секреты профессии (в свою очередь, я спрашивал себя, не стоит ли мне предпринять то же самое, взявшись за рискованный текст). Я много раздумывал о Тентене, конечно же, о Биби Фрикотене, о «Великолепной пятерке», о Жюль Верне и Морисе Леблане.

Повествование продвигалось вперед, напоминая собой бестиарий: в нем должно было разместиться как можно больше животных. Я был просто счастлив, когда одна знакомая, интересовавшаяся, как продвигается работа, спросила: «Медведя-то нам покажут?» Первый вариант ведь всегда похож на этого зверя — такой же массивный, громоздкий. Я вспомнил о давней беседе с Т., которому «Путешествие с двумя детьми» не понравилось. Он счел текст «несколько косолапым» и говорил, что эта книга вычурная, полная прикрас и похожая на аляповатую поделку, состряпанную стекольщиком в свободное от трудов

время. Что же, я собирался произвести нового монстра, выпустив в свет «косолапого».

Все заканчивалось кровавой сценой; прежде всего, важен был цвет. Я вновь подумал о «Некрофиле» Габриэль Витткоп — это одна из моих любимых книг, дневник влюбленного в мертвецов, — и о ленте под названием «Вермисат» Марио Брента — это очень странный короткометражный итальянский фильм, в котором говорится о ловце пиявок, влюбившемся в проститутку, он продает свою кровь, чтобы купить ей меховое пальто.

Если бы первоначально книга печаталась в газете, как я надеялся, иллюстрацией к первому выпуску мог быть мюнхенский автопортрет Рембрандта, где он похож на молодого безумного пса — это идеальный портрет Артура, — последней же иллюстрацией стал бы другой автопортрет, выставленный в Коллекции Фрика в Нью-Йорке, на котором он красуется в черной шляпе, похожей на терновый венец. Между ними бы разместились «Юноша с перчаткой» Тициана, «Раненый» и «Мужчина с кожаным ремнем» Курбе, обнаруженные в Прадо обезьяны Тенирса, одно из кораблекрушений Айвазовского, мужчина с обнаженным торсом и скрипкой венгра Ференци, нарисованные на золотом фоне обнаженные дети Джеймса Энсора, «Жертвоприношение Дианы» Аристида Сарторио, «Урок анатомии» Рембрандта, «Христос» Веласкеса, изображения ангелов, салонные зверинцы

Лонги и, конечно же, «Педикюр» Дега. Я, так хотевший написать книгу о живописи, вдруг заметил, что моя рукопись эту идею словно бы высосала, продублировала, поглотив другую книгу в зачатке. Каким образом картины могли пропитать собой текст, я не очень-то понимаю, поскольку никогда не писал, глядя прямо на них, я видел эти изображения в промежутках между работой, до нее или после. Зачастую картины определяли сцены будущих глав.

В какой-то момент я пытался понять, не встречал ли уже где-то своих героев, — я их обожал, — и мне показалось очевидным, что ими были два обессиливших мальчика, укрывшихся вместе со мной от проливного дождя под навесом гостиничного крыльца в Неаполе. Мне показалось, что они появились в моей жизни еще до того, как я их придумал, например, в письме Т. из Америки, в котором он рассказывал мне об аварии и смерти одного мальчика, не зная, что его зовут Лапочка. В то же время Т. сам появлялся в книге, хотя «Путешествие с двумя детьми» его жизни лишило, но он воскресал a contrario, как вечный герой, без которого не мог обойтись даже вымысел.

Часто, работая над книгой, я думал о ребенке, которого знал очень мало, это был Валентин, сын коллеги. Я был не настолько к нему привязан, чтобы питать любовь, срав-

нимую с любовью его отца; та же, в свою очередь, напоминала о чувствах моего собственного родителя. Однако этот ребенок был, можно сказать, идеальным читателем. Мне бы хотелось, чтобы отец разрешил ему прочитать эту книгу, и порой, уповая на то, я старался соблюдать меру. Старался делать так, чтобы повествование было максимально невинным.

Интерес к общению с публикой, который рано или поздно должен появиться у человека пишущего, пусть даже посредством экономических отношений, в данном случае предполагал не столько обычных читателей, сколько читателей маленьких. Достаточно убрать из «Причуд Артура» страниц десять, и книга превратится в детскую. Однако к чему так уж ломаться, если ребенок-любимец мог прочитать «Псов», катаясь на велике, в слабом свете уличных фонарей?

Так что же, это роман? Если б надо было наклеить на него какую-то этикетку, я бы предпочел указать, что это житие или сказка, легенда. Кстати, текст странным образом напоминает самые первые написанные мною вещи, это были детские сказки. У меня такое впечатление, что все пишется циклами и время от времени возвращается, оставаясь прежним или отличаясь совсем незначительно.

Книги, разумеется, меж собой связаны. Как-то раз один приятель сказал мне: «В том, что ты делаешь, мне больше всего нравится нить, тянущаяся от книги к книге. Это похоже на дом, в котором обустроены твоя комната, комната для гостей, комната двоюродных бабушек и коридор, объединяющий все пространства». Пусть тогда «Причуды Артура» станут домашней библиотекой и спальней ребенка, которого не случится.

(1983)

СВЕЖАЯ ПЛОТЬ

Роман

Прежде чем перейти в мир иной, аббат Сандр оставил среди пожитков, предназначенных для преемника, — о существовании которого не мог и помыслить, не в силах был представить ни его лица, ни даже туманного силуэта, поскольку это означало бы вообразить собственную кончину, а о ней он предпочитал думать пореже, — кассету, где с обеих сторон сохранилась полуторачасовая запись, запечатлевшая беспрестанные рыданья да всхлипы, адресованные незнакомцу и обвинявшие банду четырех в том, что они не дают ему продыху и буквально сводят в могилу.

Преемник не удосужился заглянуть в ящик, где под ворохом бумаг таилась кассета. Когда зарядила изморозь, он прочел проповедь о приходящем вместе с холодами страхе и постылой одинокой жизни, которую влачил сам в пустой постели.

«Вы, — кричал аббат Розье*, обращаясь к пастве, — сидите в опрятных домах, нежи-

---

* У аббатов в деревне фамилии «говорящие»: «Сандр» переводится как «судак»; «Розье» — «шиповник», «розовый куст»; «Бийо» — «плаха», «чурбан», «кряж».

тесь в приятно пахнущих кружевных перинах возле тех, кого любите и в то же время ненавидите больше всего на свете, — вы не способны даже представить, каково мне пребывать в постоянном уединении в мрачном, ледяном пресвитерии, да к тому же, словно вас кто-то просил, постоянно таскаетесь ко мне со своими жалобами и поклепами!»

Аббат Розье обливался потом, шея под воротником чесалась, веки отяжелели, пока он стоял на кафедре, ноги подгибались, словно он собирался сесть, хотя водрузить тощий зад было некуда.

Говорил он столь резко, что не требовалось особых усилий, дабы весть об этом разнеслась с быстротой молнии. В такой деревне за нею могла последовать лишь полная изоляция. Подобный человек не мог совершать отпущение грехов или миропомазание. Прихожане принялись судить да рядить. Однако на следующий день после нашумевшей проповеди они обнаружили, что аббат Розье заперся у себя и на телефонные звонки больше не отвечает. Когда дверь вышибли, выяснилось, что он не повесился, как об этом судачили, а просто-напросто без всяких объяснений и ни с кем не попрощавшись дал ночью деру.

Ромели, державшая москательную лавку и жившая этажом ниже квартиры кюре, заявила, что слышала тихие шаги призрака аббата Сандра, затем была какая-то возня, перешедшая в рукопашную, а после раздался

отчетливый звук падающего тела. Очевидно, аббат Сандр прогнал аббата Розье из своих владений.

На самом деле Ромели не могла стать свидетельницей упомянутой схватки, поскольку провела ту ночь, как и все остальные за последние двадцать пять лет, не дома. Закрыв магазин, который напоминал скорее свалку, нежели москательную лавку, ибо продавались там вещи весьма разномастные — лампочки, электрические ножи, абажуры, постельные принадлежности, средства от насекомых, — была также специальная витрина с женским бельем, в которой, благодаря зажимам и хитро сплетенным нейлоновым нитям, шелковые и сатиновые трусики черного и телесного цвета, казалось, порхали в воздухе, — Ирис, компаньонка, садилась на мопед и направлялась к себе, чуть дальше самой деревушки, в которой дом ее был одним из самых богатых, поскольку Ирис унаследовала состояние, позволившее ей еще выкупить и часть лавки. Ромели, в свою очередь, шла к себе, старательно включала повсюду свет, — летом она ждала, чтобы стемнело, — а потом выскальзывала во мрак и присоединялась к Ирис. Позже, когда телевизионные программы заканчивались, она возвращалась, чтобы только погасить свет.

В деревне знали об этой уловке, но никто не насмешничал, всем было попросту наплевать. Вероятно, их возбуждал сам ритуал. Обе повторяли друг другу с серьезным ви-

дом: «Чтобы вести торговлю и сохранять хоть какое-то чувство собственного достоинства, следует вести себя крайне сдержанно».

Ирис была кудрявой и светловолосой, у Ромели — ровно наоборот — волосы были прямыми и черными. Ирис походила на продавщицу парфюмерных товаров или какую-нибудь стародавнюю фигуристку, очки ей явно мешали. Ромели, всегда носившая джинсовые юбки советского типа, напоминала рыночную грузчицу. В молодости Ирис брала уроки танцев и теперь даже ради подруги не могла отказать себе в удовольствии покружиться на дансинге. Это надо было видеть, когда по вечерам на площади устраивались празднества: Ромели стояла, скрестив руки, пока Ирис, намазав вдвое больше косметики, скакала из одних мужских объятий в другие.

Ромели продолжала нахваливать аббата Сандра. Говорила, что он был святой. Ради него она вступила в борьбу против банды четырех. Она собирала пожертвования во время службы и всегда прятала несколько купюр под салфеткой, которой была выстлана корзинка для подаяний — оставляла карманные деньги своему идолу, поскольку его к ведению дел старались не допускать. Еще она продавала детям бенгальские огни для процессий. Случалось, она брала щетку и шла мести, как одержимая, взад-вперед в церкви, что, разумеется, не нравилось костлявой сторожихе, в обязанности которой уборка входила наряду с приготовле-

нием пищи кюре, она же за ним шпионила и докладывала все банде.

Ходили слухи, что аббат Розье ударился в бега вместе с какой-то женщиной. Официально замену ему все еще не нашли и некоторым подобная проволочка казалась просто недопустимой. В ожидании назначения прислали пока маленького мальгаша, который никому не нравился, и все боялись, что у епископа других кандидатур не найдется и он оставит его здесь навсегда.

В Барее все понимали, о ком шла речь, когда вспоминали о банде четырех — тайной мафии, орудовавшей в церкви. Все знали, что толкуют — в порядке их старшинства — о плотнике, сестре мясника, хозяине бара и дворнике.

Плотник с плутоватой рожей был затейником, казначеем, предводителем шайки. Он почти всегда был как-то странно спокоен, невозмутим, но нежданно-негаданно мог прийти в полное бешенство. В молодости он вусмерть разругался с братом, который был комунякой. Когда они хоронили отца, коммунист даже не зашел в церковь, стоял у входа и мял свой берет, потом потащился со всеми на кладбище. Смерть братьев не примирила, они даже не пожали друг другу руки. У плотника служил подмастерье — культурист и болван болваном, порой он мог как следует заехать кому-нибудь в баре.

Сестра мясника была просто чудищем: бульдожья морда вся в складках, редкие воло-

сы синего цвета, тело бесформенное, платье мешком, а снизу — две печные трубы, красные и потрескавшиеся, — не ноги, а не пойми что, как у робота. Однако в компашке она играла важную роль, поскольку умела, — взяв в руки кошелку и отправившись с невозмутимым видом сплетничать да расспрашивать, как у кого дела, — выудить деньги у тех, кто давно забыл в церковь дорогу. Крыша вот-вот могла рухнуть, башенные часы сломались, колокол, возвещавший о кончинах и о пожарах, согласно ее песенке, висел криво, вводя всех в заблуждение, в первую очередь, самих пожарных. И ремонт всего этого обходился прихожанам весьма недешево.

Хозяин бара был ничтожеством самого что ни на есть последнего пошиба, озлобленный, сварливый, так и норовил убавить звук музыкального автомата, как только молодежь опустит туда монетку в пять или десять франков, беспрестанно поносил всех на чем свет стоит, на левой щеке у него было родимое пятно, поросшее жесткими волосами, каждое утро он их подстригал, чтобы росли попышнее, как у кабана или ведьмы в жопе. Поговаривали, его колотит жена, поэтому, мол, он постоянно задирает тех, кто моложе. Супруга же его требовала, чтоб звали ее графиней, ей уже стукнуло сорок, а она все еще отращивала волосы, длинные, как у фурии, и носила белые кружевные платья. С юных лет и по сию пору она все еще сохла по молодому красавцу Андре из благородного рода,

который, не сказав ни слова, укатил в Монако, занялся продажей спортивных машин и в пух и прах разорился. Потом он вернулся в деревню на последней из них — «мазерати» — привезя вместе с чемоданами модную брюнетку в узких очечках и косынке, повязанной на затылке, в обтягивающих брючках с резинкой и золотых балетках итальяночку, которую называл Софией.

Что же касается дворника, он был специалистом по отбросам, занимался помойками, и особо важных дел ему в компашке не поручали. Он прекрасно умел грозить — сначала словесно, затем применяя силу. У него была винтовка, и он часто ей пользовался, стреляя, как правило, в воздух, чтобы смутить клиента. Он совратил почти всех замужних женщин в деревне, как именно — абсолютная тайна — он был маленький, страшненький, ноги кривые, коротенькие, да еще будто обросли шерстью, ступни огромные, загорелые, в деревянных сандалиях, в руках всегда щетка, чтоб под благовидным предлогом можно было шмыгнуть куда угодно да подслушать, что говорят. Прозвали его Китайцем, поскольку наверняка в его жилах была примесь китайской крови, к тому же глазки он щурил, а волосы на башке были прилизаны и походили на тоненькую лепешку иссиня-черного цвета, так что все думали, это парик. Но был какой-то год, когда Китаец набрался неведомо откуда взявшейся смелости и постригся бобриком, тогда в течение нескольких ме-

сяцев все могли видеть, что волосы у него свои, потом он опять прикрыл ими узенький лобик, растрескавшийся от солнца. Летом он носил гавайские рубашки, завязывая цветастые полы на поясе под огромным брюхом, тугим и гладким, как мяч с сохранившимся по центру мясистым отверстьицем, через которое его надували и которое вполне можно было назвать, как встарь у древних народов, «мамоном».

Он никогда не приветствовал собственных детей, встречаясь с ними на площади, сыновья же с большей охотой плюнули бы ему в спину. Мать их он бросил, чтоб развлекаться с туристками. Должно быть, его особенно возбуждало увести чью-то жену.

Кумиром Китайца был Наполеон. На развалинах скотного двора в деревне он построил себе разукрашенный домик, куда водил баб, называя его, пыжась от важности, виллой «Наполеон». Писать он не умел, поэтому попросил художника, сделавшего вывеску, вывести вдоль фасада предупреждение: «Вход лесбухам и педикам запрещен». Он испытывал священный ужас при мысли о мужеложцах, хотя младший брат у него был как раз «из таких».

Никто не знал из-за чего, брат этот провел много лет в тюрьме. Несмотря на неприязнь старшего, он вернулся в деревню с гордо поднятой головой и в распахнутой рубашке, — видимо, у них это было семейное, —

под которой все тело было в татуировках. Он нанялся работать каменщиком, болтаясь по всей деревне с молодыми мастеровыми, не имевшими ничего против, поскольку он учил их, как приударить за девками, так продолжалось до тех пор, пока его не заарканил художник. С тех пор они ходили вместе, назначая встречи на площади, по которой рассекали туда-сюда, наплевав на разницу социального положения, и беседовали, шумно жестикулируя.

Художник рисовал одних только голых женщин, иногда — мать, у которой жил, — ее он изображал в самых пышных нарядах. Он носил усы, надевал белые, обтягивающие зад брюки и белые мокасины. Себя он считал пессимистом и читал теперь только Ницше, Кьеркегора и Рембо, о которых пытался хоть что-нибудь втолковать каменщику.

Ожидание перед назначением нового кюре становилось день ото дня все тревожнее. Епископ уже явно что-то придумал, но никто не знал о его решении. Однажды вечером, когда врачиха отправилась на ужин к Элен, жене мэра, та вдруг бросила:

— Аббат Розье был странноватым, вы не находите? Правда, я уже забыла, как он выглядел…

— Странноватым, еще бы! Он же кололся! — она изобразила, как делают укол в руку, потом продолжила: — Не будем про-

должать эту историю, хоть мы и вспомнили о лекарствах, все же это профессиональная тайна!

Элен держала небольшой магазин одежды на одной из деревенских улочек, где крутой спуск, напротив булочной. Дни напролет она сидела на ступеньках у входа, болтая с женой пекаря. Ей было скучно. Больше всего Элен интересовалась чужими бедами. В данный момент ее сильнее всего занимал разлад в семье, которой принадлежал супермаркет. Прежде они жили на широкую ногу, а теперь разорились. История весьма поучительная. И ведь женщина сама во всем виновата. Дочь рыбного торговца грезила о величии. Надо было видеть, как она в обеденный перерыв, когда магазин закрывался, идет по площади со своим отпрыском, смахивающим на гнома, таща в крючковатых руках, унизанных перстнями, пакеты, в которые вывалила всю кассу, где по большей части лежали деньги, украденные ею в первую половину дня. И все ведь прекрасно знали, что Анн таскает из кассы, но проворачивала она все очень быстро, поэтому никак не удавалось ее застукать, правда, надо сказать, торговля у нее в магазине шла бойчее, чем где бы то ни было. Обворовывала она и богатых, и бедных, а потом покупала себе манто, это была ее страсть, такая же, как у мужа — автомобили, и все в рассрочку. Теперь же полки у них пустые, банки перестали давать им деньги, а поставщики

отказываются поставлять товар иначе, чем за наличные, они уже выучили, что брать чеки у них бессмысленно. Сначала муж Анн продал обе машины, потом и она, с болью в сердце, — свои бессчетные соболя и норки. Никто больше и носа не казал у них в магазине, где словно все обчистила ватага грабителей. Деревенские жители бросили на произвол судьбы ту, которой позволяли обкрадывать их долгие годы.

— Есть все-таки справедливость! — говорила жена мэра жене булочника. — А знаешь, что Анн требовала у мужа по случаю серебряной свадьбы? Бриллиантовую диадему, не меньше! Как английская королева! Я за все про все получила бриллианты такие крохотные, что и в ушах-то не разглядишь!

У каждого были свои безумства. На последней встрече банды четырех с аббатом Сандром, на которую дворника не позвали, аббат упорно стоял на своем:

— Надо купить видеомагнитофон для паствы!

— А вам что, не хватает проектора сестер Бефель, который вы одалживаете по любому поводу, один Бог знает зачем?! — почти завопила жуткая Энда, сестра мясника.

— Зачем нам видеомагнитофон? — уже поспокойнее спросил плотник.

Аббат Сандр купил на выходных в Париже, куда ездил по долгу службы, несколько кассет, которые не мог посмотреть даже

у своего приятеля в Лилле, поскольку у того был Pal-Secam.

— А что такого? Видеомагнитофон — техника будущего! — ответил аббат Сандр, не придумав сказать ничего лучше. — Но нам нужен Betamax, потому что Pal-Secam уже вышел из моды!

Хозяин бара помалкивал.

— Послушайте, просветите-ка меня лучше вот по какому предмету, — начал издалека плотник. — Я тут позволил себе полистать ваши учетные ведомости, и на что же наткнулся?! Матрацы, матрацы, одни матрацы! Какого черта вы с ними делаете?

В этот раз аббат Сандр сделал вид, что не слышал вопроса, и вновь принялся твердить о необходимости приобрести видеомагнитофон, а уж потом — компьютер.

Аббат Сандр общался с детьми без всяких комплексов. Летом возил в своей машине с откидным верхом тех же мальчиков, которым перед алтарем и паствой омывал ноги во время старинного обряда, восстановленного им в приходе. Ближайшим местом, чтоб искупаться, был Берк-Пляж, там выстраивали рядами на солнце вдоль линии горизонта кушетки с паралитиками и коматозниками, дабы те крепли на свеженьком морском воздухе. Вода была ледяная. Приехавшие с кюре мальчики возились среди страдающих олигофренией детей-крабов и детей-улиток. Берк-Пляж был гаванью для всех страждущих. Аббату Сандру

удавалось скрывать, что он не умеет плавать. Скинув верхнюю одежду, он устраивался на песке и глядел на мальчиков.

Вернувшись в деревню, он резко тормозил прямо перед церковью, мальчики на заднем сиденье, прижавшись друг к дружке, дрожали. Все были в мурашках после купания, укрепляющего здоровье. Потом, однако, долгое время судачили, что аббат умер от пневмонии, простудившись во время столь неблагоразумных вылазок к морю. До той же поры никто не злословил, а сам аббат Сандр придерживался такого мнения: если человек ничего не скрывает, то и изобличать его не в чем. Булочник, обхаживавший на глазах у всех четырнадцатилетнюю дочь, у которой уже округлились формы, придерживался схожих взглядов.

Происходило все далеко не так, как на папских выборах в Ватикане, когда дервиши толкуют цветные клубы дыма, идущего из трубы. Однажды, застав всех врасплох, в Барее появился новый кюре. Никто не ведал, как именно он там вдруг оказался, приехал днем или ночью, на поезде или на машине, один или в сопровождении, с многочисленным багажом или без него, — никто не разумел, — но все его видели, он был тут, и слухи, в которых правды и лжи было поровну, уже неслись по всему околотку. По сравнению с остальными он был довольно-таки молод. Воротничок надевал через раз. Ростом не-

высокий и вполне себе в теле. Круглолицый, словно ребеночек. Он зашел в кафе, оперся о стойку и заказал ристретто, он не представился, но графиня уже успела разглядеть новоприбывшего, он залпом выпил кофе и ушел в сторону церкви. Отправился отдохнуть, помолиться, оглядеться окрест. Интересно, кюре приехал со своей горничной или всем займется та, что помогала его предшественнику? Ясно, что человек он важный, двери Ватикана ему открыты, он должен по нескольку раз в месяц ездить на поезде Париж — Рим, беседовать на латыни с папой. Он был доктором биохимии, специалистом по искусственному оплодотворению, защитил диссертацию о женской стерилизации. Но, если он весь из себя такой важный, то как попал в такую дыру? Ему надо обдумать очень много вещей. Он здесь, потому что наказан. Бийо — смешная фамилия, особенно для священника. Но первой сплетней, которую все без исключения принялись повторять, судача о новом кюре, была следующая: «Он красит волосы!»

Когда он вошел в кафе, дыхание у него сбилось, он весь вымок от пота, сжимая в руках старую папку, набитую так, что она чуть не лопалась, и графиня успела-таки разглядеть, что с левой стороны на ней виднелось несколько капелек, словно от розового вина, оттенка индиго.

Все хотели рассмотреть аббата Бийо поближе, расспросить его, отделить правду

от наговоров, не дожидаясь, когда состоится первая месса. Элен, жена мэра, пригласила его на ужин вместе с докторшей и ее мужем. Он смутился, тихонечко рассмеялся, прикрыв рот рукой, будто пряча, что у него застряло в зубах. Ба, да он страшно любит поесть!

— Вы удивлены, что я еще не такой старый? — спросил он.

Но, вероятно, он был старше всех присутствовавших за столом. Когда он ушел — довольно рано, под предлогом, что нужно просмотреть кое-какие бумаги, — Элен бросила у него за спиной:

— Этот тип мне не нравится. Не могу понять, в чем тут дело, но он какой-то ненастоящий, потом сами поймете.

Банда четырех, в которой сейчас были лишь трое, как всегда в особо торжественных случаях, с осторожностью, но уверенно взяла курс на сближение. Они условились с аббатом Бийо о встрече, дабы рассказать ему о том, как обстоит дело с приходским финансированием, наговорить в связи с этим гадостей о предшественниках и заверить, что сами отныне в его полном распоряжении. Но кюре вел себя сдержанно, отвечал уклончиво, оставаясь при своем мнении, не задал ни одного вопроса и проводил гостей до дверей ризницы, улыбаясь с явным притворством.

Первая проповедь аббата Бийо была не менее сильной, чем у аббата Розье, но строилась

она немного иначе. Начал он со слащавых любезностей, а к концу так разошелся, что чуть не лопнул от гнева, весь раскраснелся, крича с высоты кафедры:

— Первое, что нужно сделать, это избавить приход от шушеры!

Слова были сказаны. Сестра мясника выскочила из церкви, заливаясь слезами, вскоре за ней последовал плотник, которого явно переполняли чувства, но он изо всех сил пытался смолчать, затем вышел хозяин бара, этому удалось принять более отрешенный вид, сунув руки в карманы и уставившись в пустоту, словно турист, разглядывающий замысловатый свод, выглядело весьма натурально, если б только он не посвистывал. Труднее всего было Китайцу, поскольку он никак не мог оторваться от плетеной скамеечки для молитвы, на которой каждую неделю преклонял голые колени. Озадаченный, он виновато глянул на свою матрону, словно провинившийся мальчуган. И был выведен следом из церкви. Если б он еще мог выбирать чью-либо сторону, то остался бы и, взяв щетку, ввязался в войну против шушеры. Поскольку войну уже объявили.

Аббат Бийо обалдел, когда что-то разыскивая, наткнулся на толстенный конверт со счетами за десятки и десятки матрацев, которые аббат Сандр покупал в лавке у Ромели и Ирис. Если не считать матраца, лежавшего в спальне, во всем доме не было и намека

на остальные. Аббат Бийо спустился в магазин, надеясь получить хоть какие-то объяснения. Ирис отсутствовала.

— Он столько их покупал, — начала Ромели, — что пришлось сбавить цену. Я продавала почти без наценки.

— Но зачем ему столько матрацев?

— Мы об этом не говорили. Полагаю, он мечтал о каком-то большом дортуаре для тех, у кого нет крыши над головой, для нуждающихся, для молодых…

— Замечательно, но где эти чертовы матрацы находятся? Такое впечатление, что они пропали в тот же момент, что и Сандр, словно он утащил их с собой в могилу…

— Я думаю, — продолжила Ромели с таинственным видом, — что матрацы припрятаны в склепе под церковью…

Потом она все же решилась:

— А вы, отец мой, видели или, может быть, слышали призрака?

— Хватит с меня ахинеи! — взорвался священник. — Не хочу больше слышать про призраков в этой деревне, все уши мне прожужжали!

Сразу же после, заинтригованный историей с матрацами, — вероятно потому, что она представлялась загадкой более сложной, чем было на самом деле, — аббат Бийо отправился вынуть из связки, — висевшей, как объяснила кухарка, под рычагами, запускавшими колокола, — самый большой,

самый старый ключ. Далее он пошел за ризницу, где стоял заваленный хламом стол, переставил стул и подвинул ногой траченный молью ковер, скрывавший люк. Начал спускаться, думая, что уже не в том возрасте, когда трясутся от страха. Винтовая лестница оказалось очень крутой, шаткие ступени местами прогнили так, что напоминали скорее кружево, он старался их перешагивать. Отпер ключом дверь. И оказался во влажном и пыльном капернауме, таком темном, хоть глаз выколи, не нашлось ничего, что могло бы излучать свет, хоть и болталась там старая лампочка, были только старые, пожелтевшие, толстые свечи. Но первыми, что аббат Бийо различил среди груды сундуков и — неизвестно почему — люлек, потрескавшихся крестов, небольших корабликов, разбитых мадонн, укрытых паучьей тканью, — висел там даже скелет на металлическом стержне, приделанном к шестеренкам, — первыми были матрацы. Они были сложены друг на друга в противоположном углу, в самой глубине склепа, и казались какими-то нереальными в подернутом дымкой свете, исходящем от крохотного слухового оконца, к которому словно карабкались, задумав побег. Перед аббатом Бийо предстало будто видение: «Теперь я понимаю, — сказал он себе, — это настоящий монумент, пирамида, творение страшно одинокого человека!» Проложив путь меж ящиков и приношений и перекрестившись возле скелета, он добрался до пресловутых матра-

цев, чтобы рассмотреть их поближе. Едва он до них дотронулся, осторожно положив руку на матрац, что был сверху, — довольно высоко, пришлось даже тянуться, — как вся стопка обрушилась, оставив его в темноте, поскольку матрацы отражали солнечный свет, а светило как раз в это мгновение зашло за край слухового оконца. Он зажег одну из толстых свечей первого причастия, чтобы убедиться в случившемся, и решил не складывать матрацы как было. Перевернув сначала один, потом другой, пришел к очевидному выводу: все они одноместные, одинакового размера и с одной фабрики, с неважной набивкой, которую крысы уже начали таскать из полинявших чехлов, на которых еще различались то незабудка, то гном в красных башмачках и шапочке под огромным грибом. Аббат Бийо без всякого стыда попытался отыскать следы разводов или подозрительные желтые пятна, но ничего не нашел. «Ни единого пятнышка!» — только и воскликнул он про себя. Должно быть, Ромели не ошиблась: это для нуждающихся, для молодых… Совсем не мудрено. На самом же деле, он был в крайнем недоумении.

Банда четырех — на этот раз с Китайцем, поскольку хотели произвести впечатление, правда, его упросили оставить винтовку дома, — в полном составе нарисовалась по окончании мессы у входа в церковь, чтобы было побольше свидетелей. Каждому, кто мог

слышать, они объявляли, что пришли дать последний шанс аббату Бийо. Если он принесет публичные извинения, ему все простят и можно будет начать с чистого листа. В противном случае они сместят его с должности посредством епископа, с которым у них прекрасные отношения.

Аббат Бийо, почти обрадовавшись, решил поиграть с простофилями:

— Послушайте, у меня не было задних мыслей, и я совершенно не понимаю, чего вы раскипятились. Как и за что должен я извиняться, если ругался, не называя имен? Вы сами выставили себя напоказ перед всей деревней, выйдя из церкви, когда я сказал слово «шушера», которое, кстати говоря, я вполне могу повторить и сейчас!

— Он дорого нам заплатит! — сказал плотник сестре мясника, идя прочь от церкви.

В то же время, пока множество жалоб неслось главному кюре области аббату Жоржу, — который, прежде чем водвориться в Лилле, десять лет прослужил в качестве кюре в Барее, — а также и самому епископу, банда четырех, продолжая вести боевые действия, решила изолировать аббата Бийо, устроив ему своего рода блокаду, заморозив всякое поступление денег и, если можно так выразиться, сморив его голодом. Ясное дело, долго он не продержится. Сестра мясника больше не будет никому звонить, выскребая где сто франков, а где

пятьсот. Или же продолжит свой кропотливый труд, втолковывая каждому, что новый кюре — человек бесчестный.

Тактика аббата Бийо состояла в том, чтобы до последнего не обращать на это внимания и не отклоняться от собственных правил, нацеленных на возврат полномочий управлять всеми расходами. Нынче он успокаивал себя, — поскольку происходящее все же тревожило, — знаменитой пословицей: «Собаки лают — ветер носит».

Элен, жена мэра, все жалобилась, что в жизни ее не хватает красок и волшебства. Раз в неделю она садилась в автобус и отправлялась в Лилль к постпанковой парикмахерше, которая устраивала ей на голове и волшебство, и палитру. Возвращалась всегда веселой и говорила булочнице:

— Ты глянь, сзади у меня там все синее!

Через неделю те же самые пряди становились желтыми.

Элен все колебалась, но однажды, увидев, как аббат Бийо выходит из машины, подумала: «Сейчас или никогда!» — и сразу пошла на абордаж. Осторожно вытащила из сумки небольшую, завернутую в белую бумагу склянку и, протягивая ее, шагнула к аббату:

— Отец мой, не сочтите меня слишком дерзкой, это вам маленький подарок, совсем крохотный. Вы, должно быть, не знаете, но в деревне после того, как вы заговорили о шушере, все только и твердят о том, что вы

красите волосы. Это правда, и я тоже так думаю, да. Но для вашего же блага хочу сказать, что краска у вас однотонная, без оттенков. Я нашла для вас в Лилле нечто менее броское, будет ближе к конскому каштану, держится так же, думаю, вам пойдет…

Аббат Бийо не знал, как реагировать. Он никак не мог понять, насмехается ли над ним жена мэра, или выказывает дружеское расположение. Друзей у него не было.

Он на свой страх и риск попробовал лосьон и вынужден был признать, что средство творит чудеса, особенно на висках, где иногда отсвечивало синевой.

Тогда аббат Бийо решил, что Элен на его стороне. И, раз уж она осмелилась, он, в свою очередь, тоже осмелится. Он решил купить у нее нижнее белье.

— Нам вечно подсовывают серое, черное — эти невыразительные цвета, которые я терпеть не могу, — признался он Элен, — а мне бы хотелось чего-то волшебного, необычного.

— О, вы тоже любите все необычное! — воскликнула Элен, почувствовав, как на нее веет блаженством. Она повернулась, чтобы продемонстрировать аббату желтые пряди.

Кюре вышел из магазина, купив три штуки кальсон, которые, разумеется, хорошенечко завернули: одни со смурфиками, другие с красно-белыми ракетами из комикса «Цель назначения — Луна», третьи — с Мэрилин Монро, когда ветер топорщит ей юбку.

— Отец мой, стойте! — прокричала Элен, сбегая вниз по улочке с бумажкой в руке. — Вы забыли кассовый чек. Я хотела еще сказать, что полностью на вашей стороне в той битве, которую вы ведете. Мне никогда эти люди не нравились.

— Рассчитываю на ваше молчание, — прошептал ей аббат Бийо, щеки его раскраснелись.

Когда магазин закрывался на выходные, Ирис с Ромели садились в машину, которая всю неделю ждала в гараже, — иначе говоря, стояла под сборным навесом у дома, — и отправлялись в Лилль погулять рука об руку по знаменитому Каштановому променаду — то в одну сторону, то в другую, — судача о тех, кто попадался навстречу, пока сами не падали от усталости на какой-нибудь террасе, заказывая мороженое из трех шариков с бумажным зонтиком наверху. За рулем сидела всегда Ирис, Ромели водить не умела. Они воспользовались новой машиной лишь во второй раз — это был красный RX последней модели. Машина была шире прежней, Ирис казалось, стекла очков все время запотевают, Ромели вышла, чтобы помочь ей направить автомобиль, однако окна остались закрытыми, Ирис ничего не слышала и думала, что задние фары, позволявшие видеть, как Ромели машет руками, слишком уж яркие, Ромели там, должно быть, ослепла, Ирис нервно крутила рычаг, пытаясь убавить свет,

и в то же время ей никак не удавалось подать вперед. Ромели понимала, что Ирис сейчас размажет ее по стенке.

— Давай же вперед, бестолочь, чего назад едешь!? Ты ведь меня убьешь…

Слово «бестолочь» до нее каким-то образом долетело, и Ирис так психанула, что нажала на педаль газа. Нога Ромели оказалась зажата меж бампером и бетонной стеной. Ромели, крича, бросилась на крышку багажника, чтобы сберечь хотя бы бедро.

— Вытащи меня отсюда… — уже не просила, а умоляла она.

У Ирис сразу же получилось подать вперед. Все происходило очень быстро и в то же время как-то тянулось, будто в кошмаре. Ирис подставила хромающей Ромели плечо.

— Отвези меня сейчас же в больницу, — сказала та холодно.

Ромели больше не стонала, закусив руку. До самой больницы обе не произнесли ни слова. У Ирис слезы текли ручьями, но она сохраняла молчанье. Вдруг Ромели выпалила:

— Если у тебя хватит наглости, когда у меня такое с ногой, отправиться в субботу вечером на танцульки, я тебя порешу, так и знай!

На дворе было лето. Намечалось празднество.

Ромели вернулась в деревню, держась за костыль, на ноге — белая резиновая штука на кнопках, поверх нее — сапожок, какие

обычно прописывают носить косолапым. Однако эта ортопедическая уловка скрывала нечто более ужасное, словно заимствованное из истории о Франкенштейне. Худо-бедно слепленное заново месиво плоти было помещено внутрь стального цилиндра, утыканного штырями и винтиками, с разных сторон фиксировавшими ногу. Бедной Ромели не везло. Минувшей зимой у нее что-то случилось с каким-то нервом, и половину лица парализовало. Докторша не придумала ничего лучше, как сказать ей, чтобы носила меховую шапку и береглась сквозняков. В деревне докторшу все называли Раисой, как жену Горбачева.

Аббат Бийо верил в себя, как прежде, к этому моменту он досконально изучил собственные возможности и средства к сопротивлению и все же отправился прощупать почву к аббату Жоржу, который, так или иначе, был главным кюре округа. Возможно, однажды ему потребуется защита. Служители церкви старались друг друга поддерживать. Аббат Жорж был само воплощение краснолицего доброго малого, любил вкусно поесть — иногда даже слишком, а также выпить винца — немного; он ненавидел болтовню и наветы и ото всех требовал спокойствия. В наследство ему досталась безобразная современная церковь с несоразмерным крестом, до умопомрачения большая и все время пустующая, воздвигнутая в рабочем квартале на окраине

промышленной зоны Лилля. Какой бы ни пробило час, в самое неожиданное время, получалось так, что аббата Жоржа всегда будили, нарушая бессчетные его сиесты. Будили, когда звонили по телефону. Должно быть, он повторял всем дежурную фразу: «Ох, никак не мог сомкнуть глаз этой ночью».

Он спал днем, с широко раскрытыми глазами, будто сомнамбула. Спал стоя, служа мессу. Спал, пока вкушал пищу. Спал, говоря с вами. Спал даже во время последнего причастия. Он утверждал, что ночи его столь кошмарны, что лишь чужая агония, во время которой его призывали, способна дать ему хоть какое-то отдохновение.

Аббату Бийо не требовались особая проницательность или применение дедуктивных методов, дабы понять, пока он парковал машину на насыпи возле церкви: банде четырех пришла в голову та же мысль, что и ему, правда они его опередили. Чуть дальше стояли три машины, так близко друг к другу, что едва ли откроешь дверцу. Конечно же, аббат Бийо не мог сразу распознать машины плотника и владельца бара, — на них не было знаков, указывающих, что они из Барея, — но жестянка Китайца так сильно бросалась в глаза наивной своей мазней с овальными портретами Наполеона и расфуфыренной Жозефины де Богарне, что сомнений не возникало. Аббат Бийо подумал сразу же развернуться, но интуиция подсказывала, что ситуация

может его позабавить. Он был готов встретиться с бандой четырех нос к носу, вначале они не узнают друг друга, зато потом! Стояла жара. На улице играли дети.

Обогнув церковь, аббат Бийо добрался до маленькой площади, на которую смотрели окна кабинета, примыкавшего к спальне аббата Жоржа. Солнце сильно пекло. Аббат Жорж притворил ставни, но окна, должно быть, оставил открытыми, чтобы шел свежий воздух, поскольку аббат Бийо, подкравшись, сразу же узнал плаксивую речь плотника:

— Мы написали епископу, — говорил он, — требуя в течение семи дней либо явиться самому к нам в деревню и уладить проблему на месте, либо назначить встречу в своей резиденции, дабы мы могли вместе найти решение.

— О! О! Вы поставили епископу ультиматум! — захохотал аббат Жорж. — Насколько я его знаю, если он вам ответит, это будет что-то чрезвычайное!

— Отнюдь! — прорезалась в свой черед сестра мясника. — Ответ имеется, пришел он с обратной почтой, на епископском бланке. Текст весьма поучительный. Если хотите, можете прочитать сами, отец мой, вот.

Она вытащила письмо из своей древней кошелки, и аббат Жорж, не спеша, словно, чтобы продлить удовольствие, напялил очки и прочистил горло, предвкушая нечто пикантное.

— За всю жизнь я не уступил шантажистам ни раза, — читал аббат Жорж, — и менять это правило в восемьдесят три года не собираюсь!

— Да что это за ответ, — прошелестел плотник, — как по мне, так он просто из ума выжил.

— А скажите, отец мой, — отважилась жуткая Энда, — правда то, что поговаривают о нашем славном кюре?

— А что о нем поговаривают? — спросил аббат Жорж. — Я бы хотел быть в курсе.

— Ну, что сослали его сюда в наказание за провинность. Что же это за провинность такая?

До сего момента аббат Бийо слушал, приклеившись к ставне и улыбаясь, не упуская ни единого слова. Однако теперь решил не ждать, ответит ли аббат Жорж или промолчит, он вернулся к машине и отправился обратно в Барей. Вместо улыбки на лице у него было написано отвращение.

Все заметили, что художник с каменщиком расстались. Они перестали кружить по площади; если же вдруг случайно встречались, то друг друга не замечали. Каменщик увлекся каким-то юнцом. Говорили, заманивает его в свою берлогу, обещая марихуану. Пытаясь отомстить, художник напялил парик, хотя у него росли свои волосы, на башке теперь красовалась огромная черная копна, возвышавшаяся над всеми, словно

вавилонская башня. Зная, что такие выкрутасы с прическами весьма занимают супругу мэра, художник явился в лавку Элен, опустил перед ней голову, показывая затылок, и молвил:

— Давай же, тяни! Тяни посильнее, как только сможешь! Тебе не удастся его даже сдвинуть. Это новейший фасон. Купил в Париже! — восклицал он учтиво.

Когда попадавшиеся навстречу деревенские мальчишки обзывали его педрилой, он грозил пальцем:

— Поберегитесь, — кричал он в ответ, — а то всех вас перекусаю!

Аббат Бийо нарушил сиесту аббата Жоржа, и тот велел ему приехать без отлагательств. Он решил устроить отважному кюре нагоняй, хотя на самом деле ему этого не хотелось. Встретил он его такими словами:

— Мой дорогой, ну вы что там, совсем свихнулись? Что с вами такое? Какая еще «шушера»? Для маленькой деревушки это подобно землетрясению! От вас требуется лишь сидеть на месте и чтобы о вас все забыли. А вы не находите ничего лучше, как поносить собственных прихожан. Вы могли хотя бы посоветоваться со мной, прежде чем пускаться во все тяжкие. И потом, почему бы не извиниться? Тогда мигом бы все уладилось, и вам бы это ничего не стоило! Уж больно вы гордый, мой друг.

Учительница физкультуры — бойкая блондинка в теле, вечно твердившая, что муж у нее — скучнейший человек на белом свете, но что-то менять уже слишком поздно, — была в деревне по совместительству ответственной по культурной части. Расин всем смертельно наскучил, молодые играли из рук вон плохо. Живые картины, конечно, занятнее, но в итоге выходит почти то же самое. Песни под гитару никого больше не интересовали. Учительница физкультуры, у которой уже не хватало воображения, решила зайти к Ирис с Ромели; может, у них появятся какие-нибудь идеи. До конца лета еще можно было воспользоваться кое-какой частью бюджета, было бы глупо просто так его потерять.

— Нужно придумать что-то такое, — начала Ромели, — что привлечет много народа, желательно всех, а не только молодых или старых, девочек или мальчиков. Нужно настоящее событие, о котором с нетерпением будут говорить загодя.

— Что-то оригинальное, дерзкое, — добавила Ирис, — надо идти в ногу со временем.

Можно было подумать, что продавщицы всякой всячины только того и ждали, когда придет к ним учительница физкультуры, и заранее все продумали.

— А что, если устроить модный показ? — кинулась в бой Ромели.

— Отличная мысль, — ответила Ирис, — только парни не пойдут смотреть на женские тряпки, их это не интересует.

— А мы покажем наше атласное и шелковое белье, — не унималась Ромели, — этим, уж поверьте мне, парни интересуются.

— Ой, а как же мои малышки, — воскликнула учительница физкультуры, — они ведь из-за вас перемерзнут!

Ирис, у которой, казалось, кипят мозги, хотя сцена так и маячила перед обеими в каж-

додневных мечтаниях, вдруг родила прекрасную мысль:

— Слушайте, а давайте обратимся к скорняку из Лилля. Спросим, может он одолжит нам на вечер свои меха. Девочки тогда не замерзнут, и показ белья будет смотреться гораздо эффектнее.

— Где же мы сможем все это устроить? — спросила учительница физкультуры.

— Положитесь на меня, — ответила Ромели, — даю руку на отсечение, аббат Бийо мне ни в чем не откажет. Мы в прекраснейших отношениях с тех пор, как я засвидетельствовала, что не переношу эту шайку. Теперь мы ходим к другому мяснику из-за Энды и перестали бывать в кафе, даже чтобы просто выпить по чашке.

— Я тогда займусь музыкой, — сказала учительница физкультуры, — надо подобрать что-нибудь ритмичненькое, поживее. Думаю, рэп подойдет.

Деревня, где все ходили такими паинька-ми, предалась пороку. Кюре дал разрешение использовать церковную площадь, и дефиле

состоялось. Было много шума, парни вопили, свистели, выкрикивали девушкам сальности. Следует признать, зрелище получилось весьма впечатляющее: небольшой прожектор освещал фасад церкви, зеленые двери стояли раскрытыми, из-за них одна за другой появлялись босые модели, укутанные в огромные шубы, которые они на несколько мгновений распахивали перед тем, как повернуться и прошествовать по боковым проходам, превращенным в своего рода ложи. Из старого скрипучего проигрывателя учительницы физкультуры звучал рэп. Пришла вся деревня, даже древние старухи, смеявшиеся во весь свой беззубый рот. Однако многие заметили, что сам кюре так и не появился.

Сидя в одиночестве в полутемном кабинете, склонившись над аппаратом в луче оранжевого света, который оттенял складки у него на затылке, аббат Бийо слушал по второму разу кассету аббата Сандра. Доносившийся с площади смех уже не заглушал всхлипы прежнего кюре, аббат Бийо включил звук на полную мощность, вначале он не мог ничего разобрать, кроме жужжания; ни на кассете, ни на футляре обозначений не было, не стояло ни даты, ни названия, следы таились только на пленке, это были монотонные всхлипы, и аббат Бийо, уже собиравшийся отправиться на дефиле, оказался вдруг страшно заинтригован. Он не испытывал садистических чувств, которые могли бы заставить вновь

слушать чужие рыдания, прерываемые лишь икотой и отчаянными всхлипами. На самом деле он никогда не верил в существование какого-то там аббата Сандра, а уж тем более — в его призрака. Он всегда жутко раздражался, когда кто-нибудь заводил речь про аббата Сандра, словно излагая житие праведника. Пользуясь тем предлогом, что умер он молодым — ему было как раз столько, сколько сейчас аббату Бийо, — в деревне из него хотели сделать святого. Святого, после кончины которого нашли десятки кассет с порнофильмами, — главный его ангелочек, здоровенный придурок-культурист, сын плотника, которому нравилось их смотреть, поглаживая себе грудь и трицепсы, накачанные в спортзале, не успел эти кассеты выкинуть, и не мудрено — аббат Сандр прятал их в местах самых невероятных, чаще всего на верхотуре в собственных покоях, чтобы мамаша, сморщенная черномазая коротышка, повсюду сующая свой длинный нос, не могла их заграбастать, по крайней мере, не забравшись на табуретку, тогда она, скорее всего, сломала бы ногу, а еще лучше — шейку бедра, пришлось бы ложиться в больницу, тогда хотя бы на неделю можно было от нее избавиться. Ангелочек-культурист по имени Максим — его вызвали на собрание кюре округа для дачи показаний — оказался, видимо, не таким уж тупым, сразу смекнул, что надо говорить, дабы сохранить добрую память об аббате Сандре, ответил, дескать, это были кассеты, конфискованные

аббатом у распутников из прихода. Кюре все вместе бросили эти кассеты в печку, из-за чего чуть было не сожгли и покои, и церковь аббата Жоржа, и больше об этом не говорили.

«Святой! — бубнил себе под нос аббат Бийо. — Святой, коллекционирующий матрацы!» Он не мог даже отойти от аппарата, теперь почти приклеившись к нему ухом. Он был заворожен этим голосом, таким реальным, что вполне мог быть его собственным, он слышал человека измученного, которому жить осталось совсем мало, а он, быть может, и не догадывается об этом. Аббат Бийо тоже страдал в своей жизни и поклялся, что теперь страдать будут другие, — это многое объясняло в его характере, объясняло его несколько отталкивающую постоянную отстраненность, — но в этот раз ему хотелось поплакать, сидя вместе с предшественником, и он испытывал бесконечное сострадание к этому столь близкому человеку, брату, — именно так он назвал его про себя. Голова кружилась. Горничная нашла его утром в одежде, склонившимся во сне над аппаратом, который давно уже выключился.

Банда четырех тоже не явилась на дефиле, поскольку теперь они сторонились здания церкви, а по воскресеньям отправлялись на мессу в Бефеле. Они считали, что поступают достойно, называя аббата Бийо «стриптизером». Успеха им это не прибавляло, по-

скольку вся деревня считала прошедшее мероприятие потрясающим, поздравляла кюре с блестящей идеей и надеялась, что в следующем году состоится такое же празднество свежей плоти.

Первое анонимное письмо получила докторша. Отправлено оно было из Лилля. Буквы, по всем правилам, вырезали из журналов. В письме говорилось: «Кюре спит с женой мэра». Докторша сразу же метнулась к Элен, у которой от хохота случился припадок.

Старый епископ вызвал аббата Жоржа. Настал его черед получать нагоняй.

— Что это за выкрутасы такие? — кричал разгневанный старик, даже не поприветствовав аббата Жоржа. — Вы что, не в силах приструнить собственных подчиненных?! А мне тащат письмо за письмом, телефон звонит с утра и до вечера; в моем возрасте, мой дорогой, это утомляет смертельно, счастье еще, что есть мажордом, который пытается всему противостоять. Объясните мне, Жорж, вы что, еле концы с концами сводите у себя в приходе?

— Нет, монсеньер.

— А мы-то из кожи вон лезли, чтоб отыскать вам тихий уголок, где больше никто в церковь не ходит. Дела все замяли. Чтобы вы могли досыта есть и пить и спать хоть круглые сутки, если вам так нравится, ведь знаю за вами этот грешок, потому что и сам

такой же, не буду сейчас распространяться на эту тему. От вас требовалось лишь одно — утихомирить этого безумного скакуна, точнее сказать даже — пони — по кличке Бийо, а он все у вас там манежит. И как я сам теперь выгляжу? Ведь это я попросил тех, кого все теперь называют бандой четырех, присматривать за счетами взбалмошного Сандра, теперь же меня вынуждают от собственных слов отказаться! Мы не можем менять одного кюре на другого, словно это рубашки. Вы ведь знаете, что у нас больше нет кандидатов. Мы должны мириться с тем, что имеется, пусть даже они не совсем в себе, в конце концов мы их выучим. Бийо — человек превосходный, конечно, и очень честолюбивый, но называть людей «шушерой» — это уже ни в какие ворота! Пусть на себя посмотрит! Ваш кретин сейчас рушит весь план, а план этот у меня работал и, право слово, не так уж плохо, более пятнадцати лет!

— Какой план? — пролепетал аббат Жорж, ошарашенный буйством епископа, который обычно вел себя смиренно.

— Дорого Жорж, у вас память отшибло? Не будем сейчас копаться в грязном белье, вы правы, в конечном итоге, надо об этом забыть. Но почему, вы думаете, я держал вас в течение десяти лет в самой скучной, самой отсталой, самой удаленной деревеньке во всем районе? И ведь все получилось. Местные жители привыкли к вашим причудам. Как я и предполагал, в их умах потихоньку

родилась мысль, что кюре по природе своей — человек странный. И потом я уже мог приткнуть к ним любого психа и извращенца, хоть этого Сандра с его спальным синдромом, или того наркомана, не могу вспомнить, как его звали, сгинул потом Бог знает куда, — и все бы сошло уже с рук без всяких там возражений. Увидев дело Бийо, я сразу же по-

думал: Барей. Извинитесь за меня, дорогой Жорж, перед вашими коллегами, я не смогу приехать на ежемесячный наш обед, я слишком устал. А теперь я вас провожу.

Следующее анонимное письмо принесли Ирис с Ромели, составлено оно было так же, как первое, пришло снова из Лилля. В письме оказалось всего два слова: «Вонючие лесбухи». Ирис со злости чуть было не лопнула. Хотела в знак протеста на сутки закрыть магазин и спокойно проплакаться, не боясь, что потечет тушь.

— Какой ты бываешь глупой, — сказала ей Ромели, разрывая конверт на кусочки. — Никто о нем не узнает. А об остальном всем и так известно.

— Как так? — изумилась Ирис. — Ты с ума сошла! Никто ничего не подозревает. Зачем я, по твоему, каждый раз мараюсь, танцуя с мужчинами, которые воняют, сжимают меня, как последние мужланы, возбудившиеся от одного только прикосновения, дышат мне в нос смрадом от табака, пастиса и гнилых зубов? Учти, я жертвую собой, чтобы

сбить всех с толку. Я ненавижу мужиков с самого детства! Только мужик способен на подобную низость! Даже жуткая Энда не смогла бы такого сделать, я уверена.

— Иди сюда, моя птичка! Давай, упокойся! — ответила нежно Ромели, и они сплели свои руки.

Светло-коричневый «мерседес» главы жандармерии Лилля пронесся по деревне до самой площади, никто не мог поверить глазам, но факт пришлось все же признать, и аббату Бийо в том числе. Казалось невозможным представить их вместе, настолько странная получалась парочка. Если судить по внешнему виду, меж ними не могло быть ничего общего. При взгляде на главу жандармерии — человека женатого и отца семейства — чудилось, что он одолжил мундир в костюмерной городской оперы, где труппа Баре и общество Карсенти* показывали порой оперетты в стиле «Дочь мадам Анго**» — все безупречно выглажено супругой, брюки — темно-синие с красным кантом, сверху свободные, снизу убранные в огромные кожаные черные сапоги с синеватыми переливами, поскольку супруга с придыханием

---

* Шарль Эжен Баре (1861—1934) и Марсель Карсенти (1904—1997) — известные французские театральные деятели, устроители гастролей, проходивших по всей Франции.

** Одна из самых известных оперетт французского композитора Шарля Лекока.

натирала их собственноручно. Кроме всего этого, на нем красовались эполеты и знаки отличия, он никогда не расставался с фуражкой — черной, такой же блестящей, как сапоги, — в центре которой мерцала таинственная эмблема. Так не одевался больше ни один полицейский во всей округе. Люди, которых не было на площади, когда примчался, словно ураган, «мерседес», не могли взять в толк, как же представить себе рядом кюре и жандарма. Но как раз в тот же вечер их видели вместе в Лилле, на террасе «Пасифика», куда по обыкновению заходили Ирис с Ромели, чтобы отведать мороженого «Персик Мелба», потягивая светящийся напиток зеленого цвета. Что могло связывать людей столь разных? И где и как они могли познакомиться? Можно было предполагать что угодно, все делали свои ставки.

На деревню обрушился шквал анонимных писем: один и тот же текст, скопированный сотню раз, отправили по всем адресам, значившимся в телефонном справочнике Барея, за исключением обвиняемого. В письме было указано: «Булочник каждое утро трахает свою дочь».

Хозяйка «Пасифика», утверждавшая, что состояла в интимной связи с аббатом Сандром, хотя никто ее вместе с ним никогда даже не видел, принялась болтать, что порой вечерами он ей является в спальне. Муж ее

ничего такого не замечал, так что она приказывала ему вставать на колени и возносить молитвы. А сама в это время могла спокойно болтать с аббатом Сандром. Тот, говорила она, очень сетует, что в деревне о нем позабыли. И, дескать, похоронили его не так, как следует, и он требует, чтобы на могиле поместили изображение Богоматери Сарагосской. Почему именно Сарагосской? Никто знать не знал. Он никогда не ездил в Испанию, но хозяйка «Пасифика» уверяла, что расслышала верно, было сказано: «Сарагосской» и никак иначе. Она разыскала мать аббата Сандра, потом сестру, и все им поведала. Сестра отправилась к Ромели, поскольку та общалась и с Сандром, и с Бийо. Ромели попыталась заговорить об этом с новым священником, но он не желал слушать эти суеверные бредни. Ромели и сестра аббата Сандра написали сарагосскому епископу, дабы испросить у него изображение местной святыни. С того дня, как начались видения, у хозяйки «Пасифика» не было отбоя от постояльцев.

Аббат Бийо и глава жандармерии, отважный Эктор, были теперь неразлучны. Как только ужин заканчивался, полицейский командир оставлял жену и детей перед телевизором и отправлялся в Барей к аббату Бийо, ждавшему его в пустынных покоях. Ночи напролет разъезжали они по всем местным дорогам без цели, не останавливаясь и даже не понимая, куда они направляются, очень

часто не говоря ни слова. Они почти не разговаривали и никаких нежных чувств не выказывали. Но оба отныне знали, что испытывают потребность друг в друге. Потребность жизненно важную.

У брошенной епископом банды спесь поубавилась, к тому же, как началась история с анонимными письмами, в деревне смотрели на четырех дружков с подозрением. Все решили, это происки шайки, которая не смогла изобрести ничего лучше и принялась за рассылку отвратных посланий, чтоб отомстить. Каждый теперь дрожал, опасаясь стать новой жертвой. Жители деревни требовали от мэра начать расследование и поймать виновных. Ведь поставить полицейского в штатском перед почтовым отделением в Лилле не так уж сложно.

В кафе дела шли теперь плохо, никто больше туда не наведывался, лишь юнцы по-прежнему вертелись возле музыкального автомата, и хозяин уже не осмеливался браниться или убавлять звук ящика, в который молодежь кидала все имевшиеся у нее деньги. Графиня, протирая столы тряпкой, проклинала красотку Софию, глядя, как та скачет газелью, вся расфуфыренная, в черном трико, демонстрирующем женские прелести, в мягких серебристого цвета туфельках, пока собственный ее муж пашет, как проклятый, таская ящики с нераспро-

данным. Иностранка жизнь ей прилично подпортила, — уведя мужчину, которого она так любила, — ей же досталось ничтожество с волосатым родимым пятном на роже. Дьяволица, как она ее называла, получала все, о чем ей мечталось, открыла свой газетный ларек, пока бедняга супруг распродавал одну за другой комнаты фамильного дворца. Семья теперь ютилась в прежней дворцовой гостиной, увешенной портретами маршала Петена, на которого молился отец Андре. Ветшающие картины обретались там даже не из уважения к его памяти, а просто из-за наплевательского к ним отношения, из-за лени подняться на стул и снять их к чертовой матери. София не знала, кто такой маршал Петен, она думала, это один из великих героев Франции. Заполучила она свой газетный ларек, — думала графиня, продолжая делать вид, будто протирает столы, чтобы следить за происходящим на площади, — но ей этого было мало. Оказалось, аппетит у нее неуемный. Она занялась игрушками, потом кинулась продавать духи. На самом же деле предприятие изначально было провальным, поскольку далеко не у всех в деревне имелись лишние двести франков, чтобы купить туалетную воду: люди торговались из-за ветчины в бакалейной лавке. София же тем временем лопалась от гордости, что единственная в Барее, кто умеет говорить аж на двух языках, у себя над кассой она прикрепила табличку, на ко-

торой красивенькими буквами вывела: Qui parliamo anche l'italiano.

Так получилось, что в Барее оказались и другие выходцы из Италии. Вероятно, первыми из них были Джорджо и Вероника. Однажды летом они отправились путешествовать по этой бесславной французской области и, в отличие от епископа, нашли

сельскую местность очаровательной, деревня показалась им весьма своеобразной и тихой, и они решили в ней поселиться. Они ведь годами твердили о том, чтобы полностью поменять свою жизнь. Джорджо работал инженером в Милане, но страдал от редкой болезни, несовместимой с такой профессией: руки его будто сохли, суставы каменели и всякое движение становилось проблематичным. Приходилось ежегодно надсекать в определенных местах, чтобы пальцы вновь могли шевелиться. Вероника скучала в рекламном агентстве. Сначала они купили в Барее однокомнатную квартиру, а позже принялись искать в долине земельный участок, чтобы жить там летом, выращивать помидоры и смокву и делать собственное вино. Обзавелись собакой, которая всех боялась, — видимо, прежде ее били, — и лаяла, когда кто-либо приближался к дому. По соседству оказались дом китайца и вилла «Наполеон». По извилистой узкой дороге Китаец носился, как ненормальный, так что Джорджо и Веронике частенько приходилось падать с велосипеда.

Настал день ежемесячного обеда всех кюре области, на который старый епископ в этот раз приехать не мог, для Бийо же, независимо от того, у него ли назначена встреча или у кого-то еще, — тут соблюдалась особая очередность, — все это было каторгой. Священники предпочитали съезжаться к аббату Жоржу, у которого, по крайней мере, служила хорошая повариха. У аббата, принимавшего в этом месяце гостей в Бефеле, повариха была мерзейшая. К тому же сам аббат пользовался не вполне достойной репутацией среди прочих священнослужителей. Он распорядился в своем приходе отреставрировать самое старое и самое ценное полотно, изображавшее мистическое обручение святой Екатерины, которой надевает на палец кольцо голый младенец, аббат поставил картину на комод напротив постели под тем предлогом, что это слишком большая редкость, хранить которую в церкви опасно, поскольку выкрасть ее оттуда гораздо легче. Обед начался в гробовой тишине, никто не желал ее нарушать, словно нарочно растягивая мучение. Внезапно аббат Жорж разразился тирадой:

— Мы же все — доисторические животные, — выдохнул он в тарелку, — птеродактили! Нас скоро набьют соломой и начнут выставлять в музеях. Подумать только, наше облачение уже демонстрируется в витринах. Невозможно добыть сутану, этого больше не изготавливают. А детские одеж-

ды для хора, казулы, столь знаменательного красного цвета, накрытые сверху белейшим льном, — теперь со всем этим покончено!

Аббат Бийо не хотел принимать участие в таком разговоре, кто знает, может, это ловушка.

— Никто не хочет становиться кюре, это немодно, — продолжал аббат Жорж, вероятно, так разошедшийся, потому что епископ устроил ему перед этим трепку, — это значит теперь принести себя в жертву, да еще жутким образом! Одиночество, бедность, воздержание, лишения и запреты — масса обязательств без чего-либо взамен! Через несколько столетий или, скорее, десятилетий о священниках будут говорить, как сегодня говорят о каторжниках из Гайаны, которые должны были колоть скалы. Мир становится просто бесчеловечен!

Священнослужители за столом застыли от изумления, никто не отваживался перечить аббату Жоржу, а тот почти плакал.

Красавец Андре — торговец газетами — вряд ли мог утаить, что получил анонимное письмо, поскольку все соседи получили ровно такое же. В письме значилось: «София отсосет у каждого, кто попросит».

Никого не предупредив, — кроме, вероятно, главы жандармов, — аббат Бийо, желая окончательно утвердить свою власть в деревне, а заодно и заткнуть пасть всей шай-

ке, задумал такое, о чем вспоминать будут еще очень долго. Он пригласил архиепископа, у которого учился еще в семинарии — тот, в отличие от остальных, всегда думал, что Бийо — замечательный мальчик, — дабы провести мессу, а после — устроить шествие. С тех пор, как старый епископ перестал наведываться в Барей, местные жители немного скучали без торжественной обстановки, сопровождавшей его визиты. А уж архиепископ — это гораздо лучше епископа. В одно прекрасное утро все увидели расклеенные на стенах еще не высохшие афиши, объявляющие о визите Его Преосвященства, торжественной мессе, на которой он даст свое благословение, и последующем шествии. По такому случаю жителей деревни просили, согласно обычаю, повесить в окнах самые красивые ткани. Это вызвало почти такой же восторг, как во время показа женского белья, о котором, вопреки утверждениям аббата Жоржа, церковники все еще продолжали судачить.

Откликнувшись на просьбу аббата Бийо, глава жандармов — Эктор — с радостью обещал организовать охрану и предоставить архиепископу светло-коричневый «мерседес», дабы встретить его на вокзале, куда, как предполагалось, он явится из Парижа, а вечером сопроводить обратно.

Около девяти утра по деревне пронеслось словно эхо от взрыва бомбы: приехал!

Да, он уже здесь! Но он — черный! Какая досада! Но, в сущности, почему архиепископ не может быть черным? Пережив изумление, все сразу же попытались свыкнуться с этой идеей, сочтя ее не столь уж особенной.

У церкви собиралась большая толпа. Аббат Бийо, переминаясь с ноги на ногу у дверей, вопил в громкоговоритель:

— Не волнуйтесь! Главное — без паники! Соблюдайте спокойствие, в церкви всем места хватит!

Паники никакой нигде не было, это он себе навоображал. Архиепископ оказался человечком невысокого роста, молчаливым, робким, и вовсе не черным, а, скорее, цвета кофе с молоком, будто с Мадагаскара. На самом же деле он был индийцем из Бомбея, закончившим семинарию в Лондоне. Когда месса закончилась и настала пора благословения, все вдруг увидели, как сквозь толпу, словно одержимая, пробирается растрепанная графиня: с волосами, как всегда, неубранными, но в кроваво-красном платье, которого прежде никто не видел, она расталкивала народ, спеша упасть ниц перед испуганным архиепископом, схватив его перед этим за руку и с жадностью припав к огромному аметисту. В сущности, посредством архиепископа графиня пыталась вытребовать у Бога какой-нибудь смертельный недуг для Софии, да чтобы длилось все достаточно долго и та как следует бы намучилась, сама же она успела бы подготовиться к свадьбе с красавцем Андре, ухло-

пав по возможности муженька с волосатым пятном на роже.

На следующий день аббат Бийо из покоев не выходил. Он хотел в тишине насладиться победой, которую, должно быть, обсуждали по всей деревне.

Об анонимных письмах никто даже не вспоминал. Старый епископ на мероприятие не явился, обидевшись, что целая деревня, где, казалось, ему подчиняются стар и млад, так хорохорится из-за подчиненного. Банда четырех сидела по своим домам, снедаемая любопытством и сожалениями.

Дела, стало быть, процветали. Фабьена — юнца, в которого втюхался каменщик, брат Китайца, — наняли барменом в «Пасифик». Парнем он был смазливым и, вероятно, чаевые сгребал горстями. В деревне его теперь почти не видели, разве что после работы, около часа ночи, когда он несся на мотоцикле домой, смотря только на дорогу, чтобы случайно не повстречаться с каменщиком, который, конечно же, каждый вечер ждал его возвращения, сидя у стены на скамеечке, где летом старики обычно грелись на солнце. Однако он мог видеть его лишь мельком, он кричал, но Фабьен даже не притормаживал. Каменщик ему был больше не нужен. Все, что ему требовалось, он мог отыскать в Лилле.

Каменщик прибил на двери дома дощечку с надписью: «Закрыто по случаю траура». Рано утром, перед тем как идти на стройку,

он отправлялся на кладбище и, в стороне от прочих могил, на участочке с маленьким памятником, который своими руками вылепил из прохладной и влажной земли, повытаскивав оттуда опарышей, втыкал новую ветку боярышника.

К нему подошел могильщик. У него была деревянная рука, даже не рука — кусок дерева, на котором ножом были очерчены пальцы, прежде он прятал этот грубый протез под кожаной перчаткой, со временем она износилась, а новой он не нашел. В деревне поговаривали, что руку оторвало из-за отца, сунувшего ему кусок динамита, когда пареньку было лет восемь, чтобы потом всю жизнь получать компенсацию как жертве войны. По официальной версии, играя в поле, он задел палкой гранату, ждавшую его со времен Второй мировой.

— Что ты тут делаешь? — спросил каменщика могильщик.

— Сам видишь: украшаю могилу.

— А что это у тебя за траур такой? Я шел как-то мимо и видел табличку у тебя на двери. Сам-то ты ведь не помер, насколько я вижу, да и в родне у тебя все живы, так что же случилось?

— Это траур по умершей любви, — ответил каменщик, — мой любимый не хочет со мною знаться.

— Проклятый ты педик, иди отсюда, — ласково воскликнул могильщик, — таким ты был, таким и останешься.

Сестра аббата Сандра получила наконец картонку, отправленную из Сарагосы: внутри был постер с изображением местной святыни, она заказала золоченую рамку и отнесла все это дело на кладбище в маленькую часовню, где покоился брат, сопровождали ее мать, Ромели, которую аббат Бийо успел еще раз спровадить, когда она дерзнула опять помянуть историю, и хозяйка «Пасифика», заварившая эту кашу. С тех пор, как они исполнили волю аббата Сандра, рассказывала она клиентам, он более ей не являлся.

Дети обдумывали все много месяцев кряду и даже голосовали, после чего составили делегацию из десяти самых умных представителей начальной школы, дабы выдвинуть свое требование учительнице физкультуры, которая вела у них катехизис.

— Мы не хотим такого кюре! — заявили они напрямую.

— Какого кюре? — спросила она, совершенно ошеломленная.

— Аббата Бийо, разумеется, — ответили дети, — мы долго ждали, вели себя хорошо, но теперь решено: он не годится. Или мы, или он. Ежели он останется, мы больше не будем ходить на мессы и, поверьте, это не из-за вас, на ваши уроки тоже.

— Да что с вами такое? — запинаясь, спросила обалдевшая преподавательница катехизиса. — Аббат Бийо очень хороший.

— Аббат Сандр был честный, — робко сказал светловолосый ребенок.

— А Аббат Бийо — лжец, — продолжил тот, что постарше.

— Да о чем речь? Приведите хотя бы примеры! — попросила преподавательница катехизиса.

— Тут и примеров не надо, — отрезал еще один, — все и так ясно, сплошное надувательство.

— Он что, вас трогал? — спросила преподавательница катехизиса, пытаясь понять.

— Вы что, смеетесь? — спросил в ответ один из мальчиков. — Что значит «трогал»?

— Ну откуда ж я знаю? — пролепетала преподавательница. — Мне о таких вещах ничего не известно. Может, он гладил вас по животику, или целовал там в шею, или, хуже того, дергал за пипку…

— Кишка тонка! — заявил мальчик, с гордостью скрестив руки.

— С аббатом Сандром мы были согласны на что угодно, — продолжал светловолосый ребенок. — К сожалению, мы вроде не так его привлекали. Думаю, ему больше нравились люди постарше.

— Послушайте, — воскликнула преподавательница, до сих пор не в силах поверить своим ушам, — я поговорю об этом с вашими родителями. Пусть они, а не вы или я, решат, что со всем этим делать.

София прошла по домам, чтобы собрать денег Полетт — деревенской шлюхе, которая

уже много недель валялась в общей палате больницы в Лилле после того, как ей удалили почти весь рабочий аппарат, и у нее не осталось никаких средств, по словам Софии, даже чтобы купить ночную рубашку. На рубашку она и решила собрать деньги. Ей было не западло постучать с невинным видом к графине, которая царским жестом протянула ей пятьсот франков. Та свое уже сделала, пока лобызала аметист на руке у архиепископа, незаметно кинув в корзинку перед алтарем купюру, сложенную аж в несколько раз, и сделала это с таким смиренным личиком, что сумма никак не могла быть маленькой.

— Держите, «графиня»! — сказала она Софии, поскольку саму-то ее звали «графиней», чтобы поиздеваться. Если уж и была в деревне какая-то там графиня, то — явно София, но этой было плевать на титулы. София вернула купюру:

— Это в десять раз больше того, что нужно на ночную рубашку, пусть даже она золотая, к тому же Ирис с Ромели уступят ее нам по оптовой цене. Все дают по двадцать, по пятьдесят франков. Вы были бы очень щедры, дорогая соседка, если б пожертвовали пятьдесят франков. Может, получится даже купить ей шаль.

Полетт в деревне очень любили. В маленькой хибарке, где светильник горел ночь напролет, она могла утешить любого старика, помогала всякому. Когда же мимо шел полк

солдат, направлявшихся в Лилль, все видели, как она медленно спускается с розовой пластиковой корзинкой в компании с плетущейся позади племянницей величиной с корову, к автобусной остановке. Не разодетая, в простеньком платье, лишь немного помады оттенка фуксии. Поговаривали, Полетт торгует слабоумной родственницей огромных размеров всего за несколько франков.

Попав в больницу, Полетт принялась за поэзию. Писала очаровательные стихи.

Аббат Бийо изнемогал от усталости. Он отслужил три мессы за одни сутки: утром — в своем приходе, днем — в Бефеле, где заменял местного кюре, уехавшего в отпуск, а вечером — в сельской местности, на вилле последних особ благородных кровей. Всю ночь он проездил с Эктором, и они впервые повздорили из-за глупости, каждый отстаивал свою версию происхождения анонимных писем, продолжавших терроризировать населенье Барея, клевеща с еще пущей силой. Аббат Бийо давал руку на отсечение, что письма пишет Китаец. Глава жандармов пытался ему втолковать, что Китаец — неграмотный, в письмах же орфографических ошибок не наблюдалось, если не брать во внимание до того абсурдные, что ляпали их явно нарочно.

Эктор сопроводил аббата Бийо до двора его дома. Они расстались без дружеских объятий, даже не попрощавшись. Меж тем, Эктор был единственным другом аббата. Какая ж досада!

Уже брезжил рассвет. Шатаясь, аббат Бийо бесконечно долго вытирал у порога ноги, потом уцепился за перила, чтобы подняться к себе по лестнице, стараясь не упасть навзничь.

Он отпер дверь, включил свет и обернулся: позади него стоял аббат Сандр.

— Что вам здесь нужно? — спросил аббат Бийо в гневе.

— Ты меня не узнаешь? Не видел меня на снимках?

— Сандр?

— Очень плохо выглядишь. Аж страшно. Весь желтый, как воск. Будто призрак. Небось, натворил всяких дел.

— Я сразу же узнал вас по голосу. Я слушал кассету.

— Ах да! Кассета! Я про нее забыл… Что ж, кажется, тебе удалось приструнить банду четырех. Выходит, ты хитрее меня. Они, мерзавцы, меня шантажировали. Пришлось смириться, чтоб избежать скандала.

— Я никому не скажу, что вас видел. Это попросту никого не интересует. В деревне о вас совершенно забыли. С тех пор, как я здесь, слышал о вас всего два-три раза. Люди неблагодарны. Им главное, чтоб был в деревне кюре, а уж как там его зовут — так или сяк, — неважно. Давеча были вы, нынче я, и Бог знает, во что это мне обходится!

Наверное, от страшной усталости аббат Бийо на мгновение закрыл глаза. Когда же он их открыл, в комнате никого не было.

— Что за бред! — громко воскликнул он. — Единственное, что мне было нужно, — это спросить про матрасы, — и я забыл! Ладно! Спрошу в другой раз, когда опять явится.

Аббат Бийо не решался раздеться, чтобы натянуть на себя пижаму. Быть может, аббат Сандр все еще здесь, шпионит за ним. Однако от этой мысли следовало избавиться, так и сбрендить недолго. При любом раскладе, спать ему оставалось всего часа два или три, поскольку встать надо в шесть, как всегда. Он лег прямо в одежде.

Был обычный субботний вечер, во всяком случае, так казалось. Люди снова сидели в кафе, — время ведь сглаживает неприятности, — на террасе все было забито, и графиня порхала меж столиками, принимая заказы и разнося коктейли. Китаец сидел за одним столиком с Джорджо, они пили по четвертой кружке пива, обсуждая политику, порой повышая голос. Союз этот казался странным. Их уже несколько месяцев постоянно видели вместе.

Вероника сказала Джорджо, что ей нездоровится и она хочет остаться дома. Да, в отдаленной местности сумрачно и пустынно, но она не боится. К тому же, есть ведь машина, она в любой момент может на ней отсюда уехать. Джорджо, сев на мопед, отправился в деревню и, как того ожидал, встретил Китайца. Когда он вернулся домой, орать можно было

сколько угодно, факт оставался фактом: машина исчезла, а вместе с ней исчезла и Вероника. Он решил, что ей взбрело в голову поехать где-нибудь прогуляться, такое порой случалось, значит, скоро вернется. Прождал он всю ночь. А наутро заявился в полицию сказать, что Вероника пропала.

Отряд специального назначения во главе с Эктором, не выпускавшим из рук топографической карты области и разославшим повсюду людей с рациями, вскоре отыскал машину Вероники на песчаном берегу невдалеке от Берк-Пляжа. Она стояла там на холме, было очевидно, что кто-то хотел столкнуть ее в море, но машина увязла в песке. Вероника сидела без движения за рулем, в синяках и кровоподтеках, лоб был разбит, кровь залила голову, руки, в ногах валялись пустые бутылки из-под виски и упаковки снотворного — рогипнола, гарденала и могадона. Ее отвезли в машине скорой помощи в реанимационное отделение больницы в Лилле, где врачам удалось вывести ее из комы.

Очевидно, если бы она там скончалась, Китайцу бы пришлось всполошиться, поскольку на песке нашли разметанные ветром кусочки порванного цветного снимка из фотоавтомата, когда их собрали, получился его портрет. Была и другая странность, еще более наводившая на мысль о попытке убийства, обставленного как самоубийство: в машине не оказалось следов крови, тогда как сама Вероника была вся

перепачкана. Ее до смерти избили на пляже, а потом засунули обратно в машину?

У Вероники память отшибло. Единственное, что она помнила — это ощущение страшного холода, а потом вдруг стало неимоверно жарко. Но она была абсолютно уверена, что никогда не носила с собой фотографий Китайца. И на то имелись особые основания.

Она его ненавидела. От скуки стала его любовницей, уступив настойчивым требованиям, и прошло уже много месяцев, как все это ей опостылело, он же бесился, все угрожал, если она его бросит, рассказать мужу. Ей уже не хватало сил, она не могла больше терпеть ложь и постоянно дрожать от страха, ей хотелось умереть.

Жизнь в деревне, как всегда, продолжала идти своим чередом. Впереди была осень, когда все потускнеет, станет печальным, и все думали о грядущем лете, чтобы вновь приняться за что-нибудь необычное. Летом все чувствовали себя решительнее, смелее. Зимой же замыкались, сидели дома. Анонимные письма приходили, как прежде, однако теперь их перехватывали на почте, так повелел мэр, чтобы отбить всякую охоту у автора; коммунальный служащий забирал их и сразу сжигал. Кое-кто жаловался, что вместе с анонимками в огонь попадают письма от двоюродной бабушки. Ромели уже обходилась без костыля, жуткий сапожок у нее с ноги сняли, и она лишь слег-

ка прихрамывала. На последнем празднестве уходящего лета она пригласила на танец Ирис — это случилось впервые за двадцать лет их союза, — и Ирис, несмотря на свою вечную робость, приняла приглашение. Юный Фабьен, по которому сох каменщик, стал время от времени к нему заходить, чтобы насытить своими ласками. Каменщик был на седьмом небе от счастья, он снял с двери табличку и на кладбище больше не появлялся. София по-прежнему скакала по площади то в одну сторону, то в другую, таская в банк деньги. Полетт, чудом оставшись в живых, выписалась из больницы и устраивала поэтические чтения на террасе кафе, каждый раз утверждая с улыбкой, что однажды ей, как великой поэтессе, поставят в городском саду памятник. Ходили слухи, что в долине собираются построить промышленный комплекс с трубами, из которых день и ночь будет валить серый дым. В деревне все были за: появятся рабочие места для детей. Сконфуженно обсуждалось, что Вероника снова сошлась с Китайцем. Аббат Бийо больше не встречался с главой жандармов. Он целыми днями сидел, закрывшись у себя дома, и все еще надеялся стать однажды епископом.

Как всегда по утрам в субботу, старый епископ Лилля отправился на прогулку. Поднялся он очень рано, мажордом помогу ему одеться, умыться и подал завтрак. Старый епископ, как всегда, запретил мажордому, — вечно трясшемуся, что служи-

тель церкви вдруг упадет или его собьет проезжающая мимо машина, — сопровождать его во время раннего моциона. Этим утром настроение у старого епископа было отменным. Взяв пластиковый пакет марки «Шостал», в магазине которой покупал на зиму длинные носки из мериносовой шерсти, он весело семенил вдоль ограды ботанического сада, счастливый, что может обходиться без трости. Он пересек площадь Граслен, не забывая поглядывать на огни светофора, о чем вечно орал ему вслед мажордом, когда он уже шел по улице, миновал здание комической оперы, чтобы зайти в «Понс», где продавались его любимые пирожные и он каждую неделю покупал двести пятьдесят граммов миндального печенья с малиновой начинкой — такого мягонького. Это был своего рода ритуал, радостно соблюдаемый им без устали уже в течение сорока лет. Он направлялся к центральному почтамту, прошел мимо, метров через десять оглянулся, проверяя, не следят ли за ним, посмотрел направо, налево, затем, продолжив путь, подошел к почтовому ящику. И внезапно замертво упал наземь. Из пакета высыпались десятки писем, которые он строчил по ночам, порой стыдясь, порой развлекаясь, просто потому, что никак не удавалось уснуть. Письма угодили прямо в водосток на краю дороги. Дворник как раз открыл воду. Та подхватила их и понесла в яму. Никто не мог и предположить,

что все это внезапно закончится кровоизлиянием в мозг.

Содержание

Любовная инъекция 7
Метатель ножей 12
Кино, все права защищены 21
Пасть Арски 33
Обычная женщина
невысокого роста 35
Друг из Германии 41
Фотокритик 46
Таинственное трио 54
Страстная неделя 60
Завещание Моа Цзэдуна 71
Послание собрату по перу 74
Посмертный роман 80
Влюбленный сценарист 90
П. 95
Головокружения 111
Бал одиноких сердец 118
Распространенный прием 122
Соперники 130
Издатель 133
Некролог 138
Перепуганный 144
Ex-voto 147
Здесь 149
Призрачный роман 156
Красные туфельки 162
Косолапый 170
Свежая плоть 186

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Эрве Гибер

СЛЕПЫЕ

Однажды Гибер приехал в учреждение для слепых, чтобы написать о нем репортаж. Потом устроился туда чтецом. В результате получился настоящий роман ужасов, безжалостные герои которого ужасы обожают. Это фантасмагорическое и в то же время документальное исследование доселе неизвестных нам наслаждений и страхов. Что может принести радость человеку, с детства лишенному зрения? Совсем не то, что способен представить зрячий, поскольку визуальные образы не имеют здесь никакого значения. Чудовища в этой книге становятся лишь игрушками, а обыденные мелочи обретают циклопические масштабы, углы означают горести, а округлости таят в себе покой и уверенность.

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Не часто встретишь слугу, который был прежде кинозвездой. Лакей главного героя – актер, то есть актеришка, пародия, тиран, прогнавший остальную прислугу, размахивая ножом. Он выдворил хозяина из его спальни, запрещает ему смотреть телевизор и диктует, как одеваться. Что это, голая правда или настоящий дневник? Действие происходит в 2036 году, когда автору исполнилось бы восемьдесят. Книга вышла за несколько месяцев до смерти писателя.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Эрве Гибер

ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ

Толпы зрителей собираются на трибунах. Скоро начнется коррида. Но только вместо быка — плюющийся ядом мальчик, а вместо тореадора — инфантеро. 25 июня 1783 г. маркиз де Сад написал жене: «Из-за вас я поверил в призраков, и теперь желают они воплотиться».

Герард Реве

ПИСЬМА К ВИМИ

Герард Реве познакомился с Вимом Шумахером в 1952 году. Они провели вместе 10 лет. В 1963 году Вим встретил молодого англичанина М. и ушел к нему. Реве не раз предлагал примирение, но разрыв стал окончательным. Письма Виму приходили из разных стран. Реве посетил Восточный Берлин и нашел его отвратительным, хотел перебраться из амстердамского холода в Испанию или Марокко, но разочарованный вернулся домой. «Письма к Вими» – свидетельство страстной любви и рождения нового литературного стиля, который писатель называл ревизмом.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Марсель Жуандо
МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета.

Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Марсель Жуандо
ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге "Школа мальчиков" собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917-2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Во мне метр семьдесят шесть сантиметров роста. В нем – метр девяносто. Мне нравится узнавать размеры его тела, его объем и вес. Я спешу обежать взглядом весь этот необъятный континент, задерживаясь там, где захочется. С ним – как осознать, где я, где здесь я, когда мы оба задыхаемся от непрестанных наслаждений, сплетаемся, отвечаем друг другу, понимая друг друга без слов. Мы словно движемся под сводами необычного храма, перемещаясь с места на место по всем его коридорам и тайным уголкам – чтобы в конце концов неизбежно оказаться перед входом в метро на площади Клиши.

Марсель Жуандо

ДНЕВНИКИ ДОН ЖУАНА

«Дневники Дон Жуана» принадлежат к циклу тайных сочинений Марселя Жуандо, опубликованных после смерти философа. Чувственные удовольствия – вот сердцевина мира, только ради них и стоит существовать. Жуандо наблюдает за тайной жизнью рта и рук, изучает зашифрованный язык страсти и рассказывает о людях, которые дарили ему свою любовь.

Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Марсель Жуандо

ЭТИ ГОСПОДА

В 1911 году Андре Жид написал эссе «Коридон», посвященное очарованию однополой любви. Через 40 лет философ Марсель Жуандо ответил ему своим «Коридоном»: размышления о природе гомосексуальности в его книге соседствуют с историями тех, кто знает толк в удовольствиях, непонятных большинству и ошибочно считающихся пороком.

Ладислав Клима

СЕЛЕН

Аморализм, хулиганство и безумие проповедовал в своих сочинениях Ладислав Клима (1878–1928), и его рассказы при жизни автора не могли найти издателя. В сборнике «Селен» объединены философские тексты, в которых Клима говорит о своем презрении к свинскому обществу обыкновенных людей, духовных рабов, гнид рода Homo sapiens, пылающих бессильной ненавистью к душам вышестоящим, то есть свободным.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Франсуа Ожьерас
ОТРОЧЕСТВО В ЭПОХУ МАРШАЛА

1941 год. Юг Франции, находящийся под управлением маршала Петена. Юный Франсуа Ожьерас вступает в организацию молодых фашистов, но вскоре разочаровывается. Он хочет стать язычником, первым, кто сделает шаг навстречу деревьям и светилам. Он оказывается в армии, монастыре, сумасшедшем доме. Он путешествует по Африке и вступает в любовную связь со своим дядей, полковником французской армии. Он пишет скандальный роман "Старик и мальчик". Он флиртует с Андре Жидом. Он упивается молодостью, ничего не боится и готов к дерзким экспериментам с человеческой природой.

Пьер-Себастьен Евдо
НАШИ УТЕХИ

Ничто не мешает Беарну представить себя беременной бабой, которую насилуют рукояткой лопаты на груде навоза, или собакой, которую трахает миллиардер, пока она истошно лает во время войны 14-го года, он даже способен вообразить себя стройным великаном, у которого в заднице обитают другие мужчины.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Пятницкий переулок, д. 8, стр.1
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» Ветошный пер., 9,«Никольский пассаж»

в Петербурге:

«Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
«Свои книги» Репина ул., 41
«Все свободны», Некрасова ул., 23
«Подписные издания», Литейный пр., 57

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
"Читай-Город» chitai-gorod.ru

на Украине:
«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж обращаться в
ооо «Медленные Книги», тел. (495) 971-47-92

Все книги издательства можно заказать
в редакции на сайте kolonna.mitin.com

Эрве Гибер
ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Kolonna Publications,
Трудолюбия 45, 1, Тверь, Россия, 170006.
Сдано в набор 8.10.2019 г., подписано к печати 20.11.2019 г., формат 72X104/32, объём 10,5 п.л., тираж 500 экземпляров. Бумага офсетная, картон целлюлозный, одностороннего мелования.
Отпечатано Калининским полиграфкомбинатом Главполиграфпрома Комитета по печати при Союзе Министров СССР, г. Калинин, пр. Ленина 5.